АНАТОЛИЙ МАРКОВ
(Шарки)

РОДНЫЕ ГНЕЗДА

САН ФРАНЦИСКО
1 9 6 2



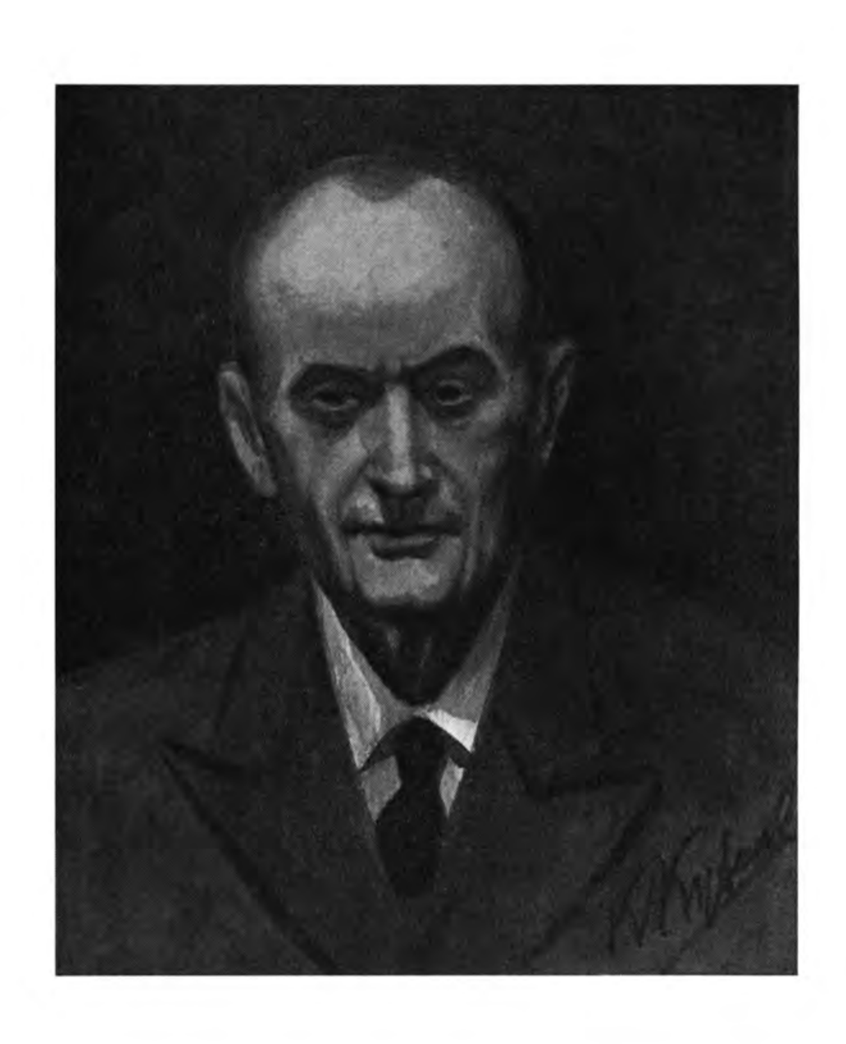
Портрет писателя работы художника К. К. Кузнецова

Отпечатано в тип. Г. Бутова — Мюнхен

АНАТОЛИЙ МАРКОВ
(Шарки)

РОДНЫЕ ГНЕЗДА

САН ФРАНЦИСКО
1 9 6 2



ПРЕДИСЛОВИЕ

Печальная судьба русских зарубежных писателей. Немногие из них имеют возможность найти издателя своим произведениям или настолько собираются с материальными средствами, что сами могут выпустить книгу. Скромен наш книжный рынок, и не так уж часто мы читаем о новых библиографических ласточках. Фактически во всем российском зарубежьи нет ни одного большого издательства (с концом существования Чеховского), и поэтому, а также и по многим другим причинам, книги наших писателей и поэтов печатаются только, если сами авторы прилагают к этому огромные усилия. Многие произведения появляются в свет только уже после кончины автора, когда именно то, что он уже ушел, что он больше ничем новым нас не порадует, заставляет нас интересоваться тем, чтобы сохранить оставленное им нам наследство.

Одним из таких авторов, писателей-журналистов, является недавно ушедший в лучший мир Анатолий Марков, имя которого мы часто видели на страницах зарубежных газет и журналов, человек, написавший множество рассказов-воспоминаний, в которых запечатлелось ушедшее от нас невозвратное прошлое.

Анатолий Марков, курянин по рождению, помещичий сын, внук и правнук, кадет по воспитанию, окончивший Николаевское Кавалерийское училище, запечатлел в нашей зарубежной печати и давнюю русскую быль, и помещичий быт, и крестьянскую среду, и уклад Российских кадетских

корпусов, и традиции Николаевского училища, и период добровольческой армии, и, наконец, свою долгую жизнь в стране фараонов и современных политических чудес — Египте.

Не так давно, но, увы, уже после его смерти, стараниями его однокашников кадет выпущена книга-сборник воспоминаний Анатолия Маркова, охватывающих «длинные версты прошлого»: «Кадеты и юнкера» (дома и на войне). Книга написана талантливо, ярко, так, как может писать одаренный очевидец всего в ней описанного. Теперь дочери покойного писателя, потерявшие в короткий срок и отца и мать, своими усилиями, исполняя мечту ушедшего, выпускают эту книгу, сборник его рассказов: «Родные гнезда».

В книге три части: «Отцы и деды», «Родные гнезда» и «Охота и природа». Большая часть из собранных в ней рассказов в то или иное время была помещена на страницах «Русской Мысли», «Русской Жизни», «Нового Русского Слова» или в периодических зарубежных изданиях; очерки эти перепечатывались, не теряя своей свежести, своего самобытного аромата, своей красочности.

Возьмем семейные воспоминания, собранные в первой части. Насколько выпуклы типы посла Москвы, боярина-разбойника, пращура автора Андрея Федоровича, девушки-вдовы, старого декабриста и его гнезда и людей с большой дороги на Руси... Читая, невольно переносишься туда, в те времена. Перед глазами, как живые, встают люди, вырастают поместья, старинные дома, их обстановка, уклад жизни. Ярко вырисовывается бабушка Марья Андреевна со всеми ее достоинствами и недостатками. В восприниманиии читаемого участвуют все наши чувства, до осязания и обоняния. Кажется, что слышишь звон хрустальных люстр, скрип старинных дубовых полов, шелест тяжелых платьев; ноздри вдыхают запахи пачули и муската, дорогого трубочного табаку и всех тех яств, тех ароматов, которыми отличалась российская кулинария... Было много жестокого и печально-

го, но и много доброго и радостного в те времена, так правдиво описанные Анатолием Марковым.

Картины второй части сборника, образы родных гнезд не менее выпуклы и живы. Колоритны описания жизни в деревне, церковных праздников, ярмарки в Коренной Пустыни, народные празднества и приметы. Крупными штрихами, смелыми мазками нарисован старый Воронеж.

Анатолий Марков был страстным охотником и рыболовом, и это отразилось в третьей части книги. Однако, страсть охотника не убила в нем любви к «нашим младшим братьям». Он любил и понимал животных, и диких, и домашних; любил пернатых. Чудесно описана охота с борзыми, но еще лучше запоминаются его медвежата Кшись и Марыня и ласковый бродяга песик Джерри.

Анатолий Марков имел непочатый угол воспоминаний. Жизнь его была богата встречами и впечатлениями. Это отражалось во всех его статьях. Богатое литературное наследство не может быть уложено в одной-двух книгах. Интересны и живы не только его рассказы, которые он подписывал своим именем, но также и те, которые, по известным политическим причинам, в дни жизни в Египте, он подписывал псевдонимом «Шарки». Там, с берегов Нила, он видел многое, многому был свидетелем, пережил переворот Нассера и, наконец, уехал оттуда в США, поселившись в Сан Франциско, где ему было суждено найти вечный покой.

Вся жизнь Анатолия Маркова, как и его предков и семьи, была посвящена служению России. Первая мировая война, добровольческая армия, наконец, жизнь эмигранта шли этим путем. Анатолий Марков никогда не опускал оружия борьбы с большевиками; против них он активно боролся в Египте — и словом, и делом, и пером. Против них он боролся до последнего дня своей жизни.

Мне лично привелось с ним познакомиться сначала через письма, как редактору газеты «Русская Жизнь», постоянным сотрудником которой он был, а затем и лично, по приезде Марковых в Сан Франциско. Уже залег в его груди тя-

желый недуг, устало неспокойно бившееся сердце, может быть, сдали и нервы, но дух не сдавался, ясен был ум, и неизгладимы воспоминания, которыми он так хотел поделиться с нами.

Все меньше становится людей, которые были очевидцами многого и о многом слушали из первоисточников или знакомились по семейным архивам. Придет время, когда молодому поколению захочется спросить о чем-то, а спросить будет некого. Вот потому и нужны в наших библиотеках такие книги, как воспоминания Анатолия Маркова «Родные гнезда».

А. Делианич

Отцы и дети

Посол Москвы. Боярин-разбойник. Мой пращур — гвардии поручик. Девушка-вдова. Дерзкий дипломат. Старый декабрист и его гнездо. Большая дорога на Руси.

ПОСОЛ МОСКВЫ

Когда мне исполнилось десять лет, дед позвал меня в свой большой полутемный кабинет, сверху до низу заставленный книгами и, указывая на какую-то большую папку, лежавшую на столе сказал:

— Смотри сюда, Анатолий, ты уже не ребенок и однажды станешь старшим в семье, а потому должен интересоваться тем, кто были твои предки и что они сделали для своей родины, а не быть Иваном, непомнящим родства, которых теперь много...

При этих словах он вынул из папки и разложил передо мною огромный, истлевший на складках, пожелтевший лист, на котором был изображен какой-то бородатый человек в боярском платье, из живота которого росло развесистое дерево.

— Это — продолжал дед — наш родоначальник Марко-Росс, жизнь которого была очень интересна, о нем говорится даже в истории Карамзина, а дерево, которое из него растет — это его потомство, и в том числе и ты сам.

Я скоро забыл то, что говорил мне дед, умерший в тот же год, и другие документы, которые он мне показывал, но бородатый человек, из живота которого росло дерево, надолго завладел моим детским вниманием, так как я никогда ранее не видел подобной комбинации. Впечатления юности и учеб-

ные годы постепенно изгладили затем его из моей памяти. Уже в зрелых годах мне попалась на глаза старая книга на итальянском языке «Il Viaggio del magnifico» знаменитого итальянского дипломата XV века Амброзио Контарини, который в ней описал свое путешествие в далекую Московию и еще дальше в Персию, причем сообщает очень интересные вещи о Марко-Россе, человеке, о котором в детстве рассказывал мне дед.

Венецианский патриций Контарини был послан в 1472 г. правительством республики Св. Марка с важной дипломатической миссией к шаху Узун-Гассану, дабы обещать ему союз и денежную помощь Венеции в войне против турок, которые, взяв Константинополь и покончив с Византией, в то время вплотную начали угрожать Республике.

В эту эпоху такое далекое путешествие было тяжелым испытанием, и было преисполнено столькими опасностями, что Контарини готовился к нему, как почти к верной смерти. Он не только исповедался и причастился, но и как умирающий навсегда попрощался со всеми родными и близкими.

Через Германию, Польшу, Дикое поле он добрался до Каффы, теперешней Феодосии, где погрузился на корабль, шедший в Мингрелию. Отсюда через Кавказ и Армению он прибыл в Тавриз. Окончив свою миссию, Контарини отправился в обратную дорогу, в сопровождении посла Великого Князя Московского и Белой Руси (del Duca di Moscovia, signor della Rossia Bianca) — Марко Росса, с которым он познакомился и сошелся в Тавризе. Это был посол Ивана III — Марк, по прозванию Толмач, которого Контарини, в виду его русского происхождения, именует «Марко Росс».

Они вместе выехали из Персии через Тифлис и Кутаис в г. Фазис (теперешнее Поти) для того, чтобы погрузиться затем на корабль в Каффу. Перенеся по дороге всякого рода притеснения и грабежи, в Фазисе они узнали роковую для обоих весть, что страшные для всех турки-оттоманы овладели тем временем генуэзской колонией Каффой, через кото-

рую каждый из них надеялся безопасно вернуться на родину.

Приходилось выбирать другой путь, и Марко Толмач, по-видимому, более знакомый с местностью и условиями, повернул назад, чтобы через владения Григория — государя Халцихана и Вати, городов, пограничных с турками, ехать через Шемаху к берегам Каспийского моря на Дербент и Астрахань.

Что касается Контарини, то он по неопытности, предпочел остаться в Фазисе, хотя и дорожил спутничеством русского посла.

Оставшись, однако, со своими четырьмя спутниками без всяких средств и помощи среди дикого и враждебного ему населения и страдая жестокой кавказской лихорадкой Контарини вскоре бросился догонять Марка. 17 сентября 1475 года он догнал его в Шемахе, принадлежавшей тогда государю Медии и вассалу персидского шаха. Обрадованный встречей венецианец упросил русского посла взять его с собой, и Марк согласился тайно провести его в своей свите в Московию.

6 ноября того же года они выехали в г. Дербент, лежавший тогда, по словам Кантарини, «на границе Татарии». По совету опытных людей в это время года невозможно было пускаться в такое далекое путешествие, через степи татар, равно как и по бурному Каспийскому, или, как его называет Контарини, «Бакинскому» морю. Почему Марк решил зазимовать в Дербенте с тем, чтобы в апреле переправиться на судах через море в «Питрахань» (то есть Астрахань).

Хотя Контарини и хвалит добродушие мусульман, жителей Дербента, но из того же его рассказа видно, что ему приходилось скрывать от них и свое настоящее звание, и национальность. Описывая свои странствования за провизией по рынкам Дербента, Контарини сообщает: «Иногда прохожие, глядя на меня, останавливались и говорил друг другу — этот человек повидимому не рожден для того, чтобы самому таскать тяжести». В изорванном овчинном тулупе и бараньей шапке, то есть подлинно русской одежде, вероятно, данной

ему русским послом, чтобы придать Контарини вид одного из своих слуг, Марк скрывал его от местных властей, которые безусловно лишили бы его жизни, если бы знали правду. Это показывает на тогдашние взаимоотношения государств Западной Европы и Азии, так как русский посол мог открыто зимовать в владениях азиатского царька со своей свитой, пользуясь при этом полной безопасностью и авторитетом, в то время, как посол Венеции должен был скрываться и трепетать за свою жизнь и судьбу.

Из книги Контарини явствует, что русский посол свободно владел татарским, персидским и итальянским языками, если объяснялся, как с ним самим, так и понимал разговор жителей Дербента. Очевидно, что помимо знания языков и авторитета Марка в этих полудиких странах и его практической опытности, необходимой в столь опасных и трудных путешествиях, Контарини вообще смотрел на русского своего коллегу, как на своего защитника и покровителя. В своей книге он наивно признается, что однажды, когда Марк выехал по делам на три дня из города, «мы бедные итальянцы, оставшись без него, натерпелись много страха».

---

6 апреля Марк нанял судно для переезда в Астрахань, и они благополучно вышли в море. На борту оказалось 25 душ вместе с двумя посольствами и персидскими купцами, отправлявшимися в Астрахань за товарами. Все туземцы продолжали с подозрением относиться к Контарини и его свите, и их успокоили только уверения Марка, что Контарини будто бы сын придворного врача московской великой княгини Софии Фоминичны, и что он едет в Москву искать счастья при тамошнем дворе.

Только на двадцать четвертый день бурного плавания по Каспию, где судно едва не погибло, а пассажиры его голодали, они добрались до Астрахани. День праздника Пасхи им пришлось провести в глухих камышах, где они разговелись десятью утиными яйцами, разысканными людьми Марка, и

которыми русский посол великодушно поделился с итальянцами.

В Астрахани Контарини и его трех людей татары отказались выпустить на берег, и только по ходатайству Марка перед местным ханом их выпустили и доставили в дом, где уже находился русский посол со своей свитой. Марк Толмач таким образом, по словам Контарини, повсюду являлся его ангелом-хранителем. Влияние Марка в пограничных с Россией владениях указывало также и на то обстоятельство, что он далеко не впервые ездил по этим местам, так как имел связи даже в далекой Астрахани.

«На другой день после нашего приезда в Астрахань» — повествует Контарини далее — «пришли к нам трое татар с лицами узкими и плоскими, как доски, и потребовали меня к хану, объявив одновременно, что Марку опасаться нечего, ибо он друг их государю, но что я, как франк — их враг и должен стать его рабом. Марк взялся отвечать за меня, советуя мне молчать и предаться совершенно его покровительству».

Опасность для итальянцев, однако, несмотря на защиту русской миссии все время увеличивалась, и им объявили, что они будут проданы на рынке. Контарини пришлось заплатить за себя, чтобы не быть проданным в рабство, хану 2000 талеров, не считая всевозможных подарков. Как деньги, так и подарки ему пришлось занять у Марка и у татарских купцов под его же поручительство. Таким образом, хан был удовлетворен, но на том дело не кончилось, так как татарские чиновники, пользуясь каждый раз выходом из дома русского посла, требовали с Контарини «страшным голосом и грозясь посадить его на кол» выдачи им всех драгоценностей.

Все это, несомненно, показывает, что Марко-Росс был весьма влиятельным и значительным лицом в Астрахани, если за его одним поручительством чужие люди доверили большие суммы неизвестному иностранцу и в его присутствии варвары-татары не смели тревожить его спутников.

Из Астрахани Марк с Контарини выехали 10 августа 1476 года с тем, чтобы сесть, когда едва стемнеет, на барку, стоящую на берегу Волги. «Вдруг Марк, — говорит Контарини, — окликнул меня таким голосом, что я подумал, что настал мой последний час, и велел мне сесть на коня и скакать в сопровождении одного татарина с самой отвратительной рожей». Итальянец, не противореча и ничего не спрашивая, ехал вслед за татарином двое суток. На вопрос посла татарин объяснил, что хан приказал осматривать все отходящие по Волге лодки и «если бы я был там найден, то был бы наверное задушен». Татарин скрыл Контарини на острове, куда через три дня Марк прислал за ним своего человека.

В дальнейшем путешественники двинулись вдоль берега Волги. Посол Марк начальствовал над караваном, который состоял из 300 человек русских и татар, имевших при себе 500 лошадей, как заводных, так и для прокормления в пути. Через 15 дней пути караван переправился на другой берег и, связав плоты по 40 бревен в каждом, привязал их к хвостам коней, которыми правили татары, и которые тащили паромы.

Проехав неохватные пространства степи без дорог и жилья, послы добрались, наконец, до рубежей Рязанской области, откуда через Коломну прибыли в Москву.

Марк поместил Контарини в своем собственном доме, снабдил его всем необходимым и «именем Государя своего убеждал быть спокойным и почитать себя как-бы в собственном доме». Поблагодарив его за спасение жизни, Контарини просил представить его Великому Князю. «В скором времени я получил приказание явиться во дворец, где, после обычных приветствий, отблагодарил Великого Князя за внимание, оказанное мне его послом Марком, который по-истине неоднократно спасал меня от великих опасностей».

Хотя венецианскому послу и объявлено было от Іоанна III, что в его воле ехать из Москвы или оставаться в ней, но не-

обходимость расплатиться с русскими и татарскими купцами за деньги, взятые у них под поручительство Марка, вынудили Контарини послать одного из своих спутников за деньгами на родину, а самому остаться на несколько месяцев в Москве.

Однако, впоследствии Великий Князь захотел оказать особенное внимание Светлейшей Республике и приказал уплатить долг ее посла из своей великокняжеской казны, так что Контарини мог уехать, не дожидаясь возвращения своего посланца.

Вот все, что сохранил нам в своей книге итальянский путешественник относительно мало известного у нас старого московского дипломата Марка-Толмача, личность которого из этого источника обрисовывается симпатичными и чисто русскими чертами: великодушного, смелого и сметливого человека. Путешествие Контарини и личность Марка не безызвестны и русским историкам. В 7 томе своей истории Карамзин говорит о посольстве Марка к шаху и возвращении его через Татарию вместе с венецианским послом, именно на основании книги Контарини, как видно из примечания к главе II.

За свои труды по выполнению посольства в Персию Марк был награжден землями в Коломенском уезде, которые перешли от него затем его детям и внукам, и из которых один — Кильдеяр Иванович, боярский сын, записанный в «тысячной книге» 1550 г., стал знаменитым разбойником «Кудеяром», о котором речь будет в следующем очерке моей «Семейной хроники».

БОЯРИН-РАЗБОЙНИК

Указом Грозного Царя от 2 октября 1560 г. тысяча детей боярских, названных «лучшими слугами», были внесены в списки так называемой «тысячной книги» и поселены вблизи столицы. В их числе были «боярские дети 3-ей статьи Суздальского уезда», три внука Марка Толмача — Давыд, Петр и Кильдеяр, получившие наделы в Коломне.

Младший из них Кильдеяр Иванович оставил о себе в истории и народной памяти заметный след. Приближенный Грозного и бывший одно время его любимцем, Кильдеяр, как и многие другие его современники, неожиданно для себя вызвал к себе злобу подозрительного царя, который, однако, до поры до времени искусно скрывал свое подозрение. Повидимому, опасаясь решительного и храброго слуги, Иоанн послал его с фиктивным поручением в Литву. В запечатанном конверте, адресованном литовским властям, между тем, заключалась просьба посадить подателя в тюрьму и назад не выпускать.

Оказавшийся так неожиданно и незаслуженно в заключении, Кильдеяр счел это за вероломство литовцев и путем подкупа, сломав решетку подземной тюрьмы, выбрался на свободу и, явившись в Москву, снова стал на царскую службу. На другой же день Малюта Скуратов по приказу царя, показывая Кильдеяру только что пойманного медведя на цепи, как бы нечаянно запер его со зверем в погребе. Кильдеяр го-

лыми руками задушил медведя и явился к Грозному с жалобой на Малюту Скуратова, обвиняя этого последнего в покушении на его жизнь. Царь отделался какой-то шуткой, но через некоторое время приказал умертвить молодую и любимую жену Кильдеяра. Предание говорит даже, что Грозный велел приготовить похлебку из ее пальцев, которой угостил мужа...

Этого преступления Кильдеяр Иванович царю простить не мог и не хотел, и, бежав в леса, стал легендарным разбойником «Кудеяром», воспетым народной поэзией и поэмой Некрасова «Два грешника», впоследствии переложенной в популярную русскую песню «Жило двенадцать разбойников, жил Кудеяр атаман»...

В памяти народной и в исторических монографиях имя Кудеяра живет, однако, не как простого разбойника большой дороги, но как борца с неправдой, мстителем и защитником слабых и угнетенных против сильных и власть имущих.

Шайки Кудеяра оперировали на обширных лесных пространствах Московской области и теперешней центрально-черноземной полосы, в те времена сплошь покрытой густыми лесами, и обнимавшей губернии Тульскую, Орловскую, Калужскую и Курскую. Кудеяр держал заставы и караулы на всех больших дорогах и шляхах этих мест и грабил только бояр и купцов, одновременно с тем являясь благодетелем крестьян и холопов, которых он защищал от неправды воевод и властей. В этом его отношении к простому народу крылся секрет того, что Кудеяр, разбойничая десятки лет, до самой смерти своего врага Грозного, был неуловим для царских войск и губных старост, неоднократно посылаемых Москвой для поимки знаменитого разбойника.

Мстя лично царю за жену, Кудеяр особенно преследовал опричников и любимцев Ивана Васильевича, ездивших в Москву или из столицы с дарами или казной. Согласно историческим данным операции этого рода удавались Кудеяру главным образом потому, что, бежав из Москвы в леса, он не те-

рял связи с московскими друзьями и боярской, враждебной царю партией, почему всегда и во-время имел из Москвы интересующие его вести.

До самой революции 1917 г. в Чернском уезде Тульской губернии в Покровско-Корсаковской волости, существовала деревня Кудеяровка, где было главное становище разбойника и где сохранились еще подземные ходы. В нескольких верстах от Кудеяровки были так называемые «Поганые озера» и деревня «Протухлое», где, по народной молве, шайки Кудеяра топили и хоронили свои жертвы. В других местах того-же района, как, например, в Калужской губернии, в лесах, сохранились подземелья и остатки его становищ, что нисколько не противоречит исторической правде, так как его шайки имели свои разветвления в нескольких губерниях, как уже выше упоминалось.

В нашем семейном архиве хранилась полуистлевшая на пергаменте запись, несомненно очень древнего происхождения, на которой по преданию рукой Кудеяра, повидимому, для памяти его детей и потомства, сообщалось о зарытой в земле бочке с жемчугом, находящейся «в пятидесяти шагах от дуба», в урочище имя рек, на реке — Реуте. Река Реут и поныне существует недалеко от моих родных мест в Орловской губернии. Записка эта, однако, тайны зарытого жемчута никогда не открыла, так как по берегам р. Реута три сотни лет уже колосятся крестьянские нивы, а приметный дуб давно исчез.

Согласно семейному преданию, подтвержденному и поэмой Некрасова, Кудеяр прекратил свою разбойничью деятельность в год смерти Грозного царя, вместе с которым умерла и его месть. Он окончил свою жизнь в Соловецком монастыре 80 лет от роду, где постригся под именем Питирима. Помимо уже приведенной выше поэмы Некрасова его воспел в своей балладе А. П. Саломон, последний инспектор классов Императорского Александровского Лицея в СПБ.

Крайней границей деятельности Кудеяра являлась северная граница степей, известных под именем «Дикого поля» в 16 и 17 веках, а именно пределы Орловской и Курской губерний. Эти места служили три века подряд сосредоточением для всех буйных голов и беглых со всей Московской Руси, или по старому выражению «воров». Здесь то на заре XVI века и сложились исторические народные пословицы о населении Орловского края, согласно которым «Орел и Кромы были первые воры, а Елец был всем ворам отец», в то время, как Ливны, крайний к Дикому полю город, был «всем ворам дивны».

В этих то местах на юг от Ливен на самом севере Курской губернии, бывшей Белгородской провинции, осталось от Кудеяра старое родовое гнездо сельцо Теребуж, сохранившее темную тень его деяний, положивших проклятие на это поместье.

Огромный старинный дом в сорок комнат, воспоминание о котором сохранилось в русской исторической литературе, сгорел в начале прошлого века. На месте его сохранились лишь остатки фундамента и завалившиеся огромные подвалы, заросшие густой чащей. Это мрачное барское жилье старого времени среди обитателей Теребужа носило имя «старого дома» и пользовалось среди окружного населения дурной славой. Как в «старом доме», так и в построенном возле него «новом», относящемся к началу прошлого века, как говорилось, было «нечисто». Теребужские владельцы старого времени и в особенности первый владелец усадьбы — страшный Кудеяр — навсегда оставили висеть тень своих грешных дел над родовым гнездом.

Нимало человеческой крови пролилось и после Кудеяра, в жестокие времена шестнадцатого и семнадцатого веков в этом глухом, пограничном углу, далеком от всех законов, и народная память этого не забыла, связав с старым барским гнездом много жутких легенд.

Тетушка моя Наталья Валериановна, хранительница и любительница старины, бывшая последней хозяйкой Теребужа,

знала много из хроники старого дома и сама была не раз свидетельницей многих необъяснимых явлений, в нем происходящих. Вот что она мне рассказывала по этому поводу.

В кабинете много лет подряд стоял громоздкий диван, древнее изделие крепостного столяра. Диван этот издавна пользовался мрачной, не вполне им заслуженной славой: на нем почему-то неизбежно умирали владельцы усадьбы, хотя всячески избегали им пользоваться.

Характерный случай произошел в этой области с прадедом моим, который, опасно заболев в 1868 г. и зная репутацию дивана, распорядился устроить свою спальню в самой дальней от него комнате. Умирал он тяжело и долго, и лежал, будучи не в состоянии пошевелиться, совершенно беспомощный. Перед смертью он вызвал, как вдовец, в Теребуж свою невестку, которая стала за ним ухаживать. Отлучившись за чем-то из комнаты больного, однажды, она вдруг, услышала крик и нашла прадеда лежащим на роковом диване, на котором он через несколько минут и скончался.

Незадолго перед этой смертью с ним случилось странное происшествие, которое он сам и все домашние сочли за предсказание его близкой смерти.

Всю жизнь прадед терпеть не мог, чтобы с ним говорили через порог. И вот, однажды, за несколько времени до его смерти, дверь к нему в кабинет бесшумно отворилась, и на пороге комнаты появился старик-староста, который молча поклонился и протянул барину какую-то бумагу. Барин, вопреки своему обычаю, взял ее через порог, но, взглянув, увидел, что это «отпускная», которую дают в руки покойникам. В тот же момент прадед вспомнил, что этот староста давно умер и понял, что покойный явился к нему предупредить своего барина о близкой смерти.

Каждый раз перед смертью владельцев Теребужа в доме появлялся и тревожил живущих в нем призрак лохматого, чрезвычайно широкоплечего человека, которого неизменно

видели, как господа так и дворовые. В Теребуже считали, что призрак этот не кто другой, как сам Кудеяр. Незадолго до смерти прадеда его племянник, а мой дед, приехавший навестить больного, увидел этот призрак и после этого никогда больше не останавливался в теребужском доме, предпочитая во время своих посещений Теребужа останавливаться во флигеле у управляющего.

Дед встретился с «семейным призраком» при следующих обстоятельствах, о которых сам мне рассказывал. Заночевав в кабинете, он не придал никакого значения разговорам о привидениях, считая это бабьими сказками. Во избежание шуток над собой он уложил на полу у двери старого лакея Африкана, крепостного еще человека покойной жены прадеда, урожденной Любови Михайловны Лутовиновой, родной тетки Тургенева.

После полуночи оба они услышали странный шум, похожий на то, что кто то тяжелый, как лошадь, но мягко ступающий, ходит по дому. Половицы буквально гнулись под его тяжестью, так как судя по звукам, чудище обходило все комнаты. Холодный пот облил деда, когда отворилась дверь и что-то огромное вошло в комнату, перешагнув через тело неподвижного Африкана. Не в состоянии взять в руку лежавший рядом пистолет, дед только смог зажмурить в ужасе глаза. Открыв их затем, он увидел при свете луны у окна странную фигуру, точно сотканную из серых ниток с богатырскими плечами.

На следующее утро, когда Африкан подавал деду умываться, он сумрачно спросил: — «Видали?.. Опять стал ходить»...

Один из последних владельцев родовой усадьбы, член Государственной Думы, человек никогда и ни в какую мистику не веривший, тем не менее, бывая в Теребуже, никогда не спал в доме, а ложился в каменном флигеле, им самим построенном.

В кабинете на страшном диване последняя его хозяйка никого и никогда из семьи не укладывала. Помещик Баневич,

ночевавший в доме, однажды слышал ночью, как в зале двигались стулья, звенели стаканы и дикие голоса кричали: «Пей!.. Наливай!» Покойный генерал Богданович и его невеста, свитская фрейлина Бутовская, гостившие однажды летом в Теребуже, часто слышали по ночам возню в гостиной, а Бутовская, проходя по залу вечером, видела, как портреты прадедов висели все с закрытыми глазами.

Приблизительно в то же время в Теребуже гостила княгиня Голицына, жена расстрелянного во время революции премьера. Ночуя в кабинете, она однажды стала ночью звать на помощь, так как в комнате кто-то стонал, и ее кровать ездила по комнате. Об этом княгиня вспоминала уже в эмиграции, живя в Париже.

МОЙ ПРАЩУР — ГВАРДИИ ПОРУЧИК

В 1762 году после государственного переворота в Теребуж приехал, высланный из столицы за верность императору Петру III, мой пращур, гвардии поручик Андрей Федорович.

Попав так неожиданно и несправедливо из шумного и веселого Петербурга в далекий медвежий угол, каким было тогда Белгородское воеводство, отставной гвардеец, обладавший бешеным и необузданным характером, в обстановке богатства и власти над жизнью и смертью трех тысяч своих крепостных, развернулся во всю и прочудил, не зная над собой никакой узды до самой смерти. Высшую власть в губернии, которую только что создала Екатерина — губернатора, Андрей Федорович ставил «ни во что» и почитал за «старшего приказного». Однажды, у себя на обеде, устроенном в день именин, Андрей Федорович за какое-то неудачное слово выкинул губернатора за окно в присутствии всего дворянства. Дело, однако, было замято, так как все свидетели и сам пострадавший были напоены до беспамятства, и происшествие это было сочтено по старой формуле «не бывшим».

Будучи в своем пограничном тогда углу озлобленным на царицу Великую Екатерину, Андрей Федорович, вместе со своим соседом-приятелем и однополчанином Гермогеном Сербиновым, одновременно с ним и за тоже самое высланным из столицы, ее за «законную императрицу» не признавали. Это дало Сербинову, жившему рядом с Теребужем, дикую мысль

составить нелюбимой им императрице «конкуренцию», заключавшуюся в том, что Сербинов стал фабриковать у себя в усадьбе фальшивые деньги из олова.

На этой почве у Гермогена Сербинова произошла ссора с Андреем Федоровичем, так как, расплачиваясь за свой карточный проигрыш, Сербинов попытался однажды всучить приятелю несколько «топорных рублей». Пращур вспылил и при свидетелях заявил, что таких денег у себя «не держит, да и никому другому не советует этого делать». Произошла бурная сцена, после которой бывшие друзья расстались врагами и затем всю жизнь совершали набеги друг на друга, сжигая стоги хлеба и беря в плен один у другого крестьян и дворовых.

Фабрика фальшивой монеты в имении Сербинова, в так называемом «сербиновском Теребуже», помещалась в обширных сводчатых подвалах барского дома с «выходами» и «сконцами» в фундаменте. В этих подземельях, как было известно немногим, проживало двенадцать польских евреев фальшивомонетчиков. О доме Сербинова в окрестностях ходили ужасные слухи. Вместо обоев, стены главного зала были выкрашены черной краской, по которой страшно скалили зубы написанные белилами скелеты. Сделано это было для того, чтобы прислуга не ходила по ночам в те комнаты, где совершалось то, что посторонним людям видеть было не надо.

Слухи о таинственных работах в Теребуже, наконец, достигли ушей властей, которые и нагрянули к Сербинову. Однако, исправник и временное отделение суда ничего не нашли подозрительного. Оказалось, что под дом не было ни входа, ни выхода, не было и окошек.

Но в то же время дворовые люди Сербинова в пьяном виде рассказывали следующее: «Это правда, что наш барин держал под домом беглых людей из польских жидов. Они и делали рубли из олова, только монета их давала глухой звук. Да ему недолго пришлось заняться этими деньгами. Прошел

слух, что суд вот-вот наедет для обыска. Услышав это, наш барин как-то вечером взял с собой в подвал четырех своих подлокотников и перепоил жидов водкой. Когда ж они заснули, барин со своими людьми перевязал их по рукам и ногам, забил рты тряпками, и так и бросил их в подвале. Опосля, в ту же ночь, приказал заложить кирпичом все двери и окна в подвале и заново оштукатурить весь дом снаружи. Так те двенадцать душ и остались заживо замурованные, вместе со своим струментом. А осмотр исправник делал только для отвода глаз, чтобы оправдаться перед начальством. Обелить себя и своего приятеля, нашего барина. Ходил вокруг дома, да спрашивал понятых: «Ну где тут дверь?.. Где окна? Одна брехня и ничего больше!..»

«За это Сербинов дал ему тройку лошадей, санки со сбруей и кучером и проиграл в карты немало денег. Досталось и членам суда, все остались довольны...»

Следы нарисованных на стенах сербинского дома скелетов сохранились под позднейшими штукатурками до моего времени, и страшное воспоминание о замурованных в подвале людях твердо держалось в народной памяти наших мест. Летом 1914 г. потомок Гермогена Сербинова праздновал юбилей своей земской и общественной деятельности. На этот юбилей всеми уважаемого человека собрался не только весь уезд, но приехало много гостей и из Курска, во главе с губернатором Богговутом.

После обеда хозяевами предлагалось сделать раскопки погреба под домом, чтобы убедиться в достоверности старой бывальщины, в которой, впрочем, никто из местных людей не сомневался. В середине обеда губернатору была доставлена телеграмма. Она была исторической, извещавшей за подписью трех министров о начале всеобщей мобилизации русской армии. Это имело место 19 июля 1914 г.

Немедленно губернатор и большая часть гостей, из коих многие служили, как мой отец, присутствовавший на обеде, в качестве предводителя дворянства, разъехались, и открытие замурованного больше ста лет тому назад погреба так и

не состоялось. Наступили грозные события, похоронившие не только старые дедовские предания и были, но и всю старую Россию...

Андрей Федорович, не признававший «законной» императрицу Екатерину был так же строг и несправедлив и в отношении своей собственной семьи. Из-за этого странная судьба постигла его единственную дочь Марию Андреевну, в замужестве Прокудину-Горскую, жизнь которой сложилась мрачно и не без элемента загадочности. Она умерла девушкой-вдовой, и ее история довольно любопытна.

ДЕВУШКА-ВДОВА
(Из старых помещичьих былей)

Бабушка Марья Андреевна, исчерна-смуглая дама огромного роста и величественной осанки, была необыкновенно властная барыня, которые водились лишь в давно прошедшие времена крепостного права.

Молодость ее сложилась мрачно и не без элемента загадочности: она была девушкой-вдовой и замужество ее было весьма романтично.

В ранней молодости она полюбила молодого и богатого тамбовского помещика Прокудина-Горского. Отец Марьи Андреевны, однако, категорически воспротивился ее браку, уверяя почему-то, что Прокудины-Горские назывались ранее Паскудиновыми, что он почитал неприличным для его дочери.

Дочь подчинилась воле отца, но одновременно с тем твердо ему заявила, что ни за кого другого замуж не пойдет. Прошло несколько лет и отец Марьи Андреевны скончался. После его смерти молодые люди просили согласия на их брак у матери-вдовы, которая в свою очередь, уважая волю покойного мужа, отказала им в своем благословении. Марья Андреевна во второй раз подчинилась родительскому запрещению и снова стала ждать. Когда, наконец, умерла и ее мать, девушка, оставшись единственной распорядительницей своей судьбы, решила венчаться со своим избранником, который терпеливо дожидался ее руки. Свадьба состоялась

в церкви села Теребужа, родной усадьбы невесты, в теплое июльское утро 1799 года. В храме от свечей и толпы молившихся было душно и для воздуха были раскрыты все двери, отчего в церкви дул сквозняк.

Когда наступил момент для брачущихся во время свадебной службы ступить, по обычаю, на атласный плат, он вдруг порывом ветра был вынесен из церкви и повис на одном из памятников, находившихся в ее ограде. К всеобщему смущению памятник этот стоял над могилами отца и матери Марьи Андреевны. Нечего, конечно, и говорить о том, какой суеверный страх объял всех присутствовавших.

Венчание все же было закончено и по выходе из храма молодые сели в карету, чтобы ехать на свадебный пир. По старому обычаю наших мест в карету, из которой отпрягли лошадей, впряглись добровольцы — крестьяне и дворовые, которые с громкими криками и пожеланиями счастья покатили ее к барскому дому. Когда свадебный поезд остановился у подъезда, дверца кареты открылась и из нее вышла бледная, как смерть, молодая, объявившая замершей в ужасе толпе, что ее молодой супруг скончался в карете на пути из церкви.

Марья Андреевна на всю жизнь осталась девушкой-вдовой и жила всю свою молодость в имениях, доставшихся ей после мужа, в число которых входила и знаменитая Дивеевская Пустынь, в которой жил и умер Преподобный Серафим Саровский.

Холерная эпидемия двадцатых годов прошлого века унесла на тот свет ее брата Александра и его жену, которые оставили трех малолетних сирот. Это заставило Марью Андреевну немедленно покинуть ее тамбовские вотчины и явиться в родной Теребуж, где она, как ближайшая и единственная родственница, приняла под свою властную руку огромное и сложное состояние своих племянников. У ее покойного брата Александра Андреевича, отставного секунд-майора Ахтырского гусарского полка, помимо Теребужа, расположенного в 18 верстах от города Щигров, на берегу светлого пруда, в раз-

ных губерниях находились многочисленные, принадлежащие ему села, с двумя и даже с тремя каменными церквами, с обширными полями и угодьями. Но этих сел он не любил, а в некоторых из них даже и не был за всю свою жизнь...

Только один раз в году, к именинам Александра Андреевича из всех его имений съезжались бурмистры и старосты с денежными оброками и целыми обозами всякого хозяйственного добра. Над его добротой или, как крестьяне говорили, «простотой» — не раз подсмеивались соседние помещики, пеняя ему за слишком снисходительное по тем временам отношение к его крестьянам. Но на все нападки этих людей, привыкших кормить своих людей чуть ли не мякиной, он только улыбался и отвечал: «пускай живут и кормятся вокруг меня, да радуются, что я жив и здоров, а не помер... С меня-же хватит, если Господь потерпит моим грехам»...

Действительно, в окрестностях не было другой усадьбы, где подневольные люди жили бы настолько благополучно, легко и весело, доживая до глубокой старости, что было тогда редкостью.

Исправники и становые, уже не говоря о мелкой полицейской сошке не смели никогда появляться во владениях Александра Андреевича для «секуций», столь обычных в старое время. Кроме своего собственного суда «скорого и правого» он других судов у себя в имениях не допускал. Зато не прибегая к розгам добросердечный, но горячий теребужский барин так проучал под сердитую руку виновных, что в другой раз никому не повадно было баловаться. А «наука» его была не шутка, так как теперь, в век микробов и катаров, трудно поверить, что Александр Андреевич легко поднимал одним пальцем тринадцать пудов, нарочно связанных цепью, и ставил их на подоконник для потехи своих гостей. А гостей он любил и умел принимать. Некоторые из них приезжали к нему на семейные праздники из СПБ и Бессарабии, причем, желая почтить хозяина, уезжали домой не ранее месяца-двух, а один его друг, приехавший на именины, пробыл в Теребуже у него 16 лет подряд вплоть до дня его смерти.

Приняв от умершего брата имущество его наследников, бабушка Марья Андреевна, конечно, была не в состоянии в действительности управлять их состоянием, разбросанным по многим губерниям и насчитывавшим несколько тысяч душ крепостных. Повсюду в дальних усадьбах сидели поэтому жуликоватые бурмистры и старосты, которых при тогдашнем состоянии дорог невозможно было объехать и проверить и раз в год. Признаться сказать, вряд ли Марья Андреевна даже и имела точное представление о том, что именно и где принадлежало ее племянникам и подлежало ее опеке. В доказательство приведу забавное происшествие, имевшее место с ней в начале прошлого века, сведение о котором попало даже в русскую историческую литературу (журнал «Исторический Вестник» — «Забытая деревня» — 1900 г.).

Холера тридцатых годов настолько усилилась вокруг Теребужа, перебирая село за селом, что буквально не успевали хоронить мертвых. Убедившись в том, что ее домашние лекарства бессильны перед страшной болезнью бабушка уступила, наконец, советам ее окружавших «спасти малолетних» и решила уехать из Курской губернии, охваченной эпидемией в Арзамас и там укрыться от нее в одной из отдаленнейших вотчин семьи.

Перед отъездом, по обычаю был отслужен напутственный молебен, и вся дворня и крестьяне попрощались, как перед смертью с барыней и барчуками. Марья Андреевна при этой церемонии величественно восседала на кресле, принимая прощальные поцелуи и давая последние распоряжения по дому и усадьбе, а затем заняла место в карете, стоявшей во главе длинного поезда из парных колясок и повозок.

Путешествие длилось уже четыре недели, когда поезд по широкому шляху, обсаженному ракитами, подъехал к красиво расположенной на пригорке у леса деревне Веретеинево. В этой деревне, в которой по словам местных крестьян жил «барин Котов», усталая бабушка решила заночевать, воспользовавшись гостеприимством барской усадьбы. Вопреки

обычаю помещик, наряженный в ярко расписанный халат, ей в этом грубо отказал.

Возмущенная его невежливостью Марья Андреевна приказала своему поезду объехать усадьбу и остановиться на ночевку в деревне. Ночью, в крестьянскую хату, где остановилась бабушка явилась крестьянская делегация из имения «барина Котова» и сообщила изумленной барыне, что крестьяне села, узнав от сопровождавших ее дворовых ее имя и фамилию, просят Марью Андреевну всем миром принять их в свое владение и избавить от неправды бурмистра, который самозванно объявил себя помещиком. Из расспросов бабушка выяснила, что деревня Веретеиново с принадлежащей к ней усадьбой, действительно принадлежит ее покойному брату, но была пропущена в списке, по которому она приняла опеку. Так как среди делегатов оказались родственники и близкие ее дворовых, сомневаться в действительности этого удивительного дела не приходилось и Марья Андреевна это сейчас же сообразила, как и то, что ей нагрубил собственный крепостной Петька Зыч, пользовавшийся в течение многих лет правами владельца имения, при попустительстве местной полиции.

Разобрав все это дело, Марья Андреевна грозно встала со своего места и приказала немедленно «привести к ней ее холопа Петьку» для суда и расправы. Когда, окруженный толпой дворовых, этот последний предстал перед бабушкой и нагло осведомился «как она смеет бунтовать его крестьян», Марья Андреевна, не дав окончить ему его речи, вся красная от гнева, сняла с ног башмак и отхлестала его по щекам.

Все это произошло так неожиданно и быстро, и фигура ее была настолько величава, а лицо и черные глаза выражали такое сознание своей власти, что Петька Зыч немедленно упал на колени прося о прощении.

К чести Марьи Андреевны надо сказать, что его мольба не пропала даром, всем были объявлены милости и всепрощение. На радостях, что Господь избавил ее с детьми от холеры и кроме того неожиданно наградил новым имением, ба-

бушка простила вереитинцам все их недоимки прежних лет и все текущие оброки до нового года. Петьку Зыга она заменила другим бурмистром, но в дальнейшем преследовать не стала, всех же остальных пожаловала к ручке и дала сто рублей на водку.

Вырастив и воспитав племянников, Марья Андреевна до глубокой старости оставалась строгой барыней, сумевшей забрать в свои властные руки не только всю дворню и крестьян, но и самих подопечных, которые, даже достигнув совершеннолетия, весьма опасались ее крутого нрава и не выходили из ее воли.

Однажды, ее старший племянник лихой гусар-кутила времен Бурцева, в один из своих наездов к цыганам в Москву, мимоходом выкрал из степенного купеческого дома в Замоскворечье красавицу Катю, спустив девушку на полотенцах из ее светелки к себе в сани.

В строжайшей тайне он поселил ее в Теребуже, в верхней комнате одного из флигелей, где жил сам на холостом положении. Не такова, однако, была его тетушка, чтобы не знать того, что делается в ее усадьбе. В один прекрасный день она под каким-то предлогом нагрянула в гусарский флигель с визитом. Осмотрев помещение племянника и убранство его комнат, она похвалила его за вкус и порядок, сразу сообразив, что без заботливой женской руки здесь дело не обошлось.

Под предлогом дальнейшего осмотра она поднялась в мезонин флигеля и остановилась перед запертой дверью, где гусар скрывал свою пленницу. На вопрос тетки: «что здесь такое?» племянник, смутившись, ответил, что в мезонине свалена старая мебель, а ключ от двери он потерял. Невозмутимая Марья Андреевна приказала дверь взломать, за которой оказались две прекрасно убранные комнаты, в которых к ее ногам упала красавица девушка, обливаясь слезами.

Тетушка девицу подняла, приласкала, расспросила, и тут же, не выходя из флигеля, приказала не знавшему куда девать глаза гусару готовиться через неделю к свадьбе, на которой была затем посаженной матерью.

Ставшая так неожиданно, благодаря Марье Андреевне, хозяйкой Теребужа Катя, превратилась в барыню «Катерину Ивановну», на много пережив своего беспутного мужа. Ее хорошо помнил маленькой старушкой, одетой во все белое, мой отец. Вся усадьба звала Екатерину Ивановну за ее голубиный нрав и ласку, с которой она относилась к людям, «теребужской радостью». В саду старого дома я сам знавал древнюю липу, посаженную ею и носившую имя «дерева бабушки Кати».

Когда Марья Андреевна скончалась ее, согласно обычаю того времени, положили в гроб, как девушку, с двумя огромными черными косами. Много лет спустя, уже на моей памяти, когда в Теребуже был выстроен семейный склеп, куда перенесли с кладбища гробы всех давно умерших предков, среди других могил была разрыта и могила Марии Андреевны. Девушка-вдова лежала в гробу скелетом, сохранив свои черные косы, символ драмы ее жизни, которые на сто лет пережили всех свидетелей этой старой семейной истории.

ДЕРЗКИЙ ДИПЛОМАТ

Кузен моего прадеда, Аркадий Иванович, родился в 1747 г., первым окончил Московский Университет и по его окончании поступил в коллегию иностранных дел, где быстро выдвинулся прекрасным знанием языков и способностями. В 1781 г. он еще молодым человеком получил свой первый дипломатический пост в качестве второго министра в Гаагу, в помощь князю Д. А. Голицыну, со специальной миссией добиться примирения между Англией и Голландией, война между которыми вредила торговым интересам России. Летом 1783 г. он был командирован в Париж, как делегат на конференцию держав о признании независимости Северо-Американских Соединенных Штатов, где президенту Франклину впервые пришлось познакомиться с русской дипломатией в лице Аркадия Ивановича.

Назначенный затем посланником в Стокгольм, он выполнил деликатную миссию примирить короля Густава III с его собственным дворянством.

За все это императрица Екатерина назначила его в 1786 г. членом комиссии иностранных дел, где он стал первой рукой канцлера Безбородко, а затем временщика Платона Зубова. Назначенный ведать всей иностранной перепиской Екатерины, Аркадий Иванович получил от графа Безбородко дружеский совет на том живописном простонародном языке, на

котором этот последний выражался в кругу близких ему людей:

— Держи ухо востро, Аркадий Иванович, ты теперь ответчик за все перед Государыней... На Зубова не надейся, он, братец, мало того, что язва, плут и шильник, он, братец, такой дурак, каких свет не видал...

К этому времени относится первая неудача Аркадия Ивановича на дипломатическом поприще. Он не сумел уладить женитьбы шведского принца с внучкой императрицы Екатерины, и когда перед самой свадьбой жених отказался, Государыня так этим оскорбилась, что, по словам княгини Голицыной, в ее записках, напечатанных в «Историческом Вестнике», сорвала свой гнев на Аркадии Ивановиче, обругав его и даже замахнувшись на него палкой.

С Александром Андреевичем Безбородко Аркадий Иванович был не только сослуживец, но и давний приятель, так как оба, будучи холостяками, вели крайне легкомысленную и разгульную жизнь, что достаточно рисует одно из писем нашего семейного архива, написанное Аркадием Ивановичем к Безбородко из Парижа и напечатанное, как исторический курьез, в журнале «Русский Архив» за 1890 г.

«Не угодно ли вам, батюшка Александр Андреевич, каких-либо из здешних дамских нарядов? Здесь женщины, оскудев грудями, выдумали одежду, простую рубаху, которая завязывается весьма высоко на шее и, хотя здесь теперь великий жар, женщины носят сию одежду, чтобы не обнажить своей скудости. Как сей недостаток, который, впрочем, не должен затмевать других прелестей в глазах людей деликатных, плененных оными, распространялся, может быть, и до наших краев, то намерен я с первым курьером прислать вам сию рубашку «de la dernière élégance» для услужения одной какой-нибудь особе вам благоприятной»...

Согласно секретным мемуарам анонимного автора, повидимому польского эмигранта, напечатанным в 1804 г. в Париже, знавшего Аркадия Ивановича во Франции в это время, он его

характеризует, как человека «чрезвычайно изысканного в одежде и обращении, завсегдатая парижского высшего света». Эта изысканность русского посла — говорит анонимный автор — доходила до того, что он мог сойти за любого французского маркиза. Он входил в салон и кланялся, как танцмейстер на цыпочках, брал табак концами пальцев, чтобы блеснуть бриллиантами, которые носил на руках, говорил только на ухо и только вещи приятные, и в своих фразах был так же изящен, как в одежде.

В Париже он поэтому был известен, как «fade Markoff». В качестве одного из руководителей иностранной политики России Аркадий Иванович считался одним из виновников раздела Польши, почему анонимный автор, о котором говорится выше, как поляк, характеризует способности этого екатерининского вельможи не особенно лестно и пристрастно:

«Дипломатические документы, составляемые Марковым», говорит он, «не отличаются большой гениальностью. Впрочем, дипломатам при Екатерине в этом и не было никакой надобности, так как русская дипломатия в эту эпоху употребляла два средства более действительные, чем логика и красноречие, а именно — угрозы и деньги».

Это, конечно, пристрастный отзыв человека, обиженного за свою родину, так как ум и даровитость Аркадия Ивановича сомнению не подлежат, и даже Карамзин почитал его за одного «из самых способных русских дипломатов».

Императрица Екатерина, близко познакомившись с Аркадием Ивановичем, заведывавшим, как выше сказано, ее заграничной корреспонденцией также оценила его способности и усердие, и по ее представлению перед австрийским императором ему и его двум братьям, Николаю и Ираклию, было пожаловано графское Римской Империи достоинство в 1796 году. В дипломе, однако, венский капитул по ошибке именовал братьев вместо Марковых — Морковыми. Как сам Аркадий Иванович, так и его братья до смерти именовались гра-

фами Марковыми, но их потомство, угасшее в 1907 г., уже называлось согласно диплома.

При восшествии на престол императора Павла граф Аркадий Иванович был сопричислен к ставленникам Зубова и его постигла опала. Ему было приказано выехать из столицы и поселиться невыездно в своем имении Летичеве.

Еще при Екатерине в СПБ он познакомился через свою любовницу, драматическую артистку французского театра г-жу Гюсс, с некиим г. Кристин, швейцарцем по происхождению, но преданным французской монархии, тайно сообщавшимся с арестованной королевской семьей, а затем приехавшим с графом Артуа, будущим королем Карлом X в СПБ. Императрица, желая оказать внимание графу Артуа, определила г. Кристин в иностранную коллегию надворным советником и пожаловала ему 400 душ в Подольской губ. С отставкой в 1801 г. Аркадия Ивановича вышел в отставку и покровительствуемый им Кристин, разделивший с графом изгнание, поселившись в его имении.

Высылая Аркадия Ивановича из столицы, император Павел, вопреки своему обычаю — не мстить близким людям своей матери — отнесся не в пример сурово к нему, запретив даже г-же Гюсс следовать за своим возлюбленным, приказав объявить ей, что «она находится на службе императорского двора, а не графа Маркова».

Проживая в Каменце, Аркадий Иванович сделался объектом преследования и злобы со стороны польских помещиков, которые считали его виновником гибели Польши. Граф Гудович — бывший в это время подольским губернатором — также будучи польского происхождения, обходился с ним весьма обидно и при всех столкновениях графа с поляками принимал неизменно сторону последних. В своих записках граф Комаровский — бывший адъютант великого князя — говорит, что, по приезде великого князя в Каменец, граф Аркадий Иванович обратился к нему с просьбой аудиенции у Константина Павловича.

«Спасите меня, любезный генерал, вы знаете, как поступают со мной здесь поляки и если великий князь обойдется со мной немилостиво, то я пропаду».

На просьбу Комаровского к цесаревичу принять графа Маркова, Константин Павлович ответил: «как ты хочешь, чтобы я его принял? Он у государя под гневом»... Кончилось это, однако, тем, что вел. князь принял Аркадия Ивановича в отдельной аудиенции, что произвело нужное впечатление на Гудовича и его соотечественников, которые оставили после этого опального дипломата в покое.

После смерти в 1801 г. императора Павла, Александр Павлович немедленно вызвал графа Маркова в СПБ, снова принял его на службу с чином действительного тайного советника и в том же году назначил полномочным послом в Париж ко двору Первого Консула.

Убежденный легитимист, Аркадий Иванович, еще в бытность свою в первый раз во Франции, сошелся с представителями французской аристократии и целиком усвоил себе взгляды Сен-Жерменского предместья на новый порядок вещей, установившийся во Франции после революции. Приблизительно тот же взгляд разделялся и петербургскими салонами.

Считая, согласно этим понятиям, Бонапарта «узурпатором», посол императора Александра один из всех дипломатов умел держать в респекте пылкого и дерзкого Первого Консула, который вскоре почувствовал к Аркадию Ивановичу настоящую вражду, что побудило Бонапарта сказать крылатую фразу о том, что «он желал бы иметь в Париже такого-же благосклонного к французам русского посланника, каким для англичан является в Лондоне граф С. Р. Воронцов»...

Из многочисленных столкновений между Первым Консулом и Аркадием Ивановичем упомяну об эпизоде с носовым платком, который как-бы нечаянно уронил Наполеон перед графом с тем, чтобы гордый русский посланник из дипломатической вежливости его поднял. Вместо этого граф Мар-

ксв немедленно уронил свой собственный платок и поднял его, сделав вид, что не заметил платка Первого Консула.

Отправившись в Париж, Аркадий Иванович взял с собой и Кристина, который по его ходатайству был вычеркнут из списка эмигрантов. Войдя в знакомство с семейством Бонапарта, Кристин сблизился с женой Наполеона Жозефиной и его сестрой Гортензией, одновременно с тем поддерживая переписку с графом Артуа, проживавшим в Лондоне. Начальник тайной полиции Первого Консула — Фушэ, узнав об этом, тайно похитил Кристина из русского посольства, где он жил, и отправил его в Лион, где посадил в крепость.

Узнав об этом, граф Марков отправился к Бонапарту, с которым у него произошло бурное объяснение, после которого Аркадию Ивановичу пришлось в 1803 г. покинуть Париж и вернуться в Россию. Несмотря на жалобы Первого Консула императору Александру Павловичу, этот последний не только не наказал своего посла, но наградил его Андреевской лентой, что заставило французского посла в СПБ понять, что ему тоже пора складывать свои чемоданы. Император, однако, успокоил этого последнего, заявив публично, что «русский Государь, не являясь главой революционного правительства, а законным правителем своей страны, принужден считаться с международными дипломатическими обычаями и потому французский посол может оставаться в СПБ».

К концу его жизни граф Аркадий Иванович был назначен членом Государственного Совета, в каковом звании и скончался 29 января 1827 года, в день своего восьмидесятилетия. Так как женатым он никогда не был, то император Александр Павлович разрешил ему при жизни передать имя, титул и имения его дочери от г-жи Гюсс — Варваре Аркадьевне, вышедшей впоследствии замуж за князя С. Я. Голицына.

Брат Аркадия Ивановича, сподвижник Суворова и кавалер звезды Св. Георгия 2-ой степени был инспектором кавказской инспекции, а в годы Отечественной Войны был выбран начальником московского ополчения.

СТАРЫЙ ДЕКАБРИСТ И ЕГО ГНЕЗДО

Теребуж после смерти Марии Андреевны достался ее племянникам, из которых один был мой прадед, Лев Александрович. Среди своих братьев, удалых помещиков цыганского типа, кутил, озорников и картежников, метавших родовое имение направо и налево, награждавших целыми вотчинами своих любовниц и расточавших здоровье в оргиях и попойках, он один из всех резко выделялся своим семейным, строгим нравом, своими оседлыми, земледельческими вкусами, деловитостью и трудолюбием. В то время, как братья его мыкали по свету и бесцеремонно трепали по чужим людям доброе имя семьи, Лев Александрович ревниво оберегал честь своего старого дворянского рода. В человеческих поколениях, как в дереве, происходит какое-то роковое вымирание, какая-то роковая, взаимная борьба молодых отпрысков...

Появится их на старом корне видимо-невидимо, всякий тянет к себе питательные соки, у всех кажется условия одни, а подождешь год, другой, смотришь позасохла и отпала большая часть этих отпрысков и два, три только оспаривают друг у друга право на исключительное существование. Еще несколько лет, и одно могучее дерево высится уже на месте старого пня, затеняя собой все кругом, подавив и изгнав всякую другую соперничающую с ним поросль.

Лев Александрович вырос на старом дедовском пне, именно этим единственным, всех заменившим отпрыском. Семьи

его братьев и сестер, как-то сами собой таяли и исчезали, не основывая прочных поколений, стираясь, рассыпаясь, идя на ущерб... Один он, хотя условия его существования были самые трудные из всех, рос все прочнее, все шире и выше, словно в нем одном хранились для передачи потомству зиждительные силы будущего...

И когда он, действительно, стал почти единственным представителем когда-то многоветвистого родового пня, тогда собранная опять воедино растительная сила дала множество своих новых отпрысков, предназначенных к новой взаимной борьбе, к новому процессу воссоединения рассыпанного бессильного множества в один могучий и плодотворный побег будущего.

Теребуж, доставшийся ему в совместное владение с братом и с печальной тенью прошлого, тяготевшей над ним, его не привлекал, и Лев Александрович жить в нем не стал, так как не такова была натура старого барина, чтобы делиться властью в собственной усадьбе, хотя бы и с родным братом.

Отдав этому последнему Теребуж, прадед решил выстроить себе новую усадьбу на новом месте. Выбор его пал на одно из самых дальних владений семьи, еще не тронутую плугом степь в десяти верстах от уездного города Щигров, на реке Рати. Первыми колонистами этой глухой «Аладьинской степи», здесь за десятки лет до постройки усадьбы, была семья теребужского крестьянина — Ивана Мелентьева, по прозвищу «Губана», который был послан сюда с двумя другими семьями еще при царице Екатерине, когда еще ни одной из современных нам деревень еще здесь не существовало на свете. Эти три семьи положили начало так называемым при мне «Мелентьевым хуторам», через которые мы ездили из имения моего отца в гости к деду.

Мы с братом хорошо знали дорогу и все ее достопримечательности, связанные с старыми семейными историями. Вот знаменитые «медвединские кусты», напирающие на дорогу версты три сряду. Здесь совершился всем памятный подвиг

храбрости нашего деда, который с одним денщиком Соколовым с нагайкой в руках вырвался в глухую ночь из засады разбойников и всех их переловил на другое утро со своими драгунами.

Мы с Колей благоговейно всматриваемся в старый столб над межевой ямой, исторический монумент этого семейного геройства и рисуем себе эту картину среди ночного мрака и безмолвия. . .

Еще гораздо обильнее окружена сагами всякого рода бесконечно длинная гать, обсаженная столетними дуплистыми ветлами, тянущимися на целую версту среди камышей живописной Рати. Здесь наш лихой другой дед, прогусарившийся гусар на своей удалой тройке со своим отчаянным Петрушкой и силачом кучером Иерей по самым глухим дорогам и в самые темные ночи, тоже попался разбойникам. Они не только отбились втроем от 12 нападавших, но и будто бы привезли их всех в Щигры все на том же тарантасе.

Хотя у нас с братом и выходили разногласия относительно некоторых обстоятельств этого происшествия и раз мы даже с ним пребольно подрались, не сойдясь между собой в том, сколько было разбойников — двенадцать или три, однако, мы не смущались этими случайностями, принимая за истину тот вариант, в котором оказывалось больше ужасов и больше молодечества.

Исторический «Думный Курган», простодушно называемый мужиками «Дымным», волновал по дороге в имение деда особенно наши поэтические инстинкты. Он видел, этот древний каменный колосс, целое тысячелетие, ему молились, его отыскивали глазами сквозь даль степей еще печенеги, половцы и монголы. Зачем стоял он здесь на том же могильном кургане, и неужели еще целое тысячелетие он будет стоять здесь, безмолвно вперив свои каменные глаза в таинственную тьму ночи, карауля вечность, вечной загадкой людям? . .

Блестящим молодым офицером генерального штаба, или как в те времена говорили «колоновожатым», прадед должен был, в связи с событиями декабрьских дней 1825 года, выйти

в отставку и навсегда поселиться в деревне, важно расписываясь на самых незначительных бумагах «Свиты Его Величества подпоручик», не желая переменить этого почетного титула ни на какие штатские чины, хотя ему случалось служить подолгу в значительных должностях по выборам, где он мог бы получить крупный гражданский чин.

Крамола его была самого, впрочем, невинного характера. Вращаясь среди гвардейской молодежи своего времени, он, не входя в число заговорщиков, тем не менее поддерживал со многими из них приятельские отношения и, в частности, дружил с Муравьевыми, Пестелем, Бобрищевыми-Пушкиными, бывшими частыми гостями в гостиной прабабки Елизаветы Андреевны, дочери суворовского генерала фон-Ган, русского коменданта Цюриха в итальянском походе. Тем не менее, после 14 декабря он был скомпрометирован этим знакомством в глазах императора Николая, и его блестяще начатая карьера в «свите Его Величества корпуса колоновожатых» по окончании известной школы Муравьева оборвалась.

С годами воспоминания молодости забылись, и только однажды, уже много лет спустя, когда из Сибири вернулся один из участников декабрьских дней и навестил Льва Александровича и его супругу в их Александровке, старики вспомнили бурные дни невозвратного прошлого, и Елизавета Андреевна не без подъема исполнила на рояле в честь возвратившегося друга революционный полонез Огинского, когда-то им написанный в тюрьме.

В Александровке, названной так прадедом в честь его отца, родился и прожил всю свою жизнь мой дед, родился и жил до своей женитьбы и мой отец. В нее по традиции каждый год вокруг своего серебряного самовара собирала бабушка Анна Ивановна и все молодое поколение старого колоновожатого. Она была второй женой деда и родом из Полтавщины, в молодости отличаясь необыкновенной красотой.

Во время посещения Полтавы императором Николаем Павловичем, понимавшем толк в этом деле, Государь, вопреки

обычаю, танцовал почти весь вечер с молодой красавицей, поразившей его своей наружностью. В мое время Анна Ивановна была маленькой беленькой старушкой с тонким, словно точеным из слоновой кости личиком, очень сердившейся на нас, внуков, когда мы ей напоминали о ее бывшей красоте. Только изредка, когда она была в особенно хорошем настроении, удавалось уговорить бабушку показать нам портрет, написанный с нее, когда ей было 18 лет. Тонкой акварелью, на овальном медальоне, как писали в старину, она была изображена в белом воздушном платье и казалась действительно совершенно райским видением. Старики утверждали, что портрет отнюдь не преувеличивал ее былой прелести.

Дом в Александровке был полон стариной, вывезенной из Теребужа: дедовскими портретами, строго смотревшими со стен на своих резвых потомков, затейливыми шкафами и шифоньерками красного дерева, с круглыми углами диванами — мастодонтами, изделиями крепостных мастеров, и часами-колонками, стоявшими по углам, которых в детстве мы почему-то особенно опасались. Мне лично казалось, что в сумерки в них открывались дверцы и в темные залы выходил кто-то страшный и таинственный...

Жуть навевала на нас, многочисленную родственную детвору, и одинокая могила нашей бабушки, урожденной Детловой, первой жены деда, умершей в молодости и поэтически похороненной в саду, на круглой площадке липовой алеи. Здесь дед, писатель и публицист 80-х годов, любил писать свои произведения из старой помещичьей жизни. Детьми мы сторонились этого места по инстинкту живых существ перед тайной смерти.

Всякий раз при посещении Александровки меня мальчиком клали спать в комнате, считавшейся среди детворы «самой страшной» в прадедовском доме. Виновником этого был, впрочем, я сам и мое мальчишеское самолюбие перед целым цветником хорошеньких кузин. Дело заключалось в том, что в

этой комнате-кабинете прадеда, огромной и полутемной, над диваном висели написанные масляными красками портреты предков, занимавшие всю стену. От времени портреты потускнели, лица на них почти исчезли и только глаза портретов по художественной традиции старого времени были видны ясно и смотрели всегда прямо на вас, куда бы от их взгляда мы ни увертывались.

Этого последнего обстоятельства терпеть не могла по вечерам детвора Александровки, почему категорически не желала спать в кабинете. Мой кадетский гонор не позволял разделять страхи «девченок», что было отмечено старшими, и я попал в постоянные жители страшного кабинета.

В природе ничто не исчезает бесследно, и те люди, которые жили в старых зданиях, где родилось, жило и умерло несколько человеческих поколений, не могли не заметить, что в самом воздухе старых домов, мебели и обстановке несомненно чувствуются флюиды прошлого.

Именно это я почти физически чувствовал, как только меня укладывали в моей ранней юности на диване под портретами, и я с жутью слышал, как взрослые начинали расходиться на ночь из соседней столовой, и дом постепенно затихал. Горевшая у моего изголовья на тумбочке свеча была не в силах осветить большую комнату и бросала только колеблющиеся тени на темные лица предков, висевшие над моей головой, как Дамоклов меч. Было одно спасение: отвлечься от жутких мыслей чтением книг, которые плотными рядами украшали сплошь стены кабинета, в старинных, стенных шкафах.

Однажды, впрочем, это утешение сыграло со мной очень плохую шутку, так как мне точно на зло попалась книга Фламмариона, который с большим вкусом и знанием предмета, во всевозможных подробностях, на протяжении трехсот страниц, рассказывал самые невероятные истории о привидениях, покойниках, вампирах и всевозможных выходцах с того света. В соединении с обстановкой комнаты эта книга произвела на меня такое впечатление, что пришлось в спеш-

ном порядке закутаться с головой в одеяло, чтобы ничего не видеть и не слышать. Это было верное, испытанное детское средство против ночных страхов.

Кроме портретов в кабинете была и еще одна неприятность в лице старой мебели, которая от сырости имела преподлое обыкновение, рассыхаясь, совершенно неожиданно издавать громкий треск, что заставляло меня среди ночи в ужасе вскакивать на моем диване.

Богатая библиотека деда, впоследствии, когда я уже стал молодым человеком, сослужила мне немалую службу и положила начало смолоду любви к старине и книжному делу, две страсти, которые теперь в старости дают мне столько удовольствия и удовлетворения.

Милую Александровку, как и сотни культурных и старинных усадеб на Руси, в 1918 г. до тла сожгли «освобожденные крестьяне», которых вскоре затем советская власть освободила и от собственного имущества.

Бабушки Анны Ивановны, к счастью, тогда уже не было на свете...

БОЛЬШАЯ ДОРОГА НА РУСИ

Прямая дорога, большая дорога,
Простора не мало взяла ты у Бога...

Дорожное дело, имеющее своим основанием лошадиную гоньбу, впервые было организовано Чингисханом в Монгольской империи для связи столицы с завоеванными областями, и было затем татарами доведено до большой высоты. Московская Русь, свергнув татарское иго, сохранила у себя, однако, введенное ими дорожное устройство, вместе с его татарскими названиями, как «ямы» и «ямщики».

«Ямами» назывались монголами дорожные станции, расположенные одна от другой на расстоянии 30—50 верст, обслуживаемые «ямщиками», т. е. людьми, ведающими станциями и правящими лошадиной упряжкой от перегона до перегона.

Прежнее татарское устройство не только прочно привилось на Руси, но постепенно вошло в быт русского народа. В то время ямщицкое ремесло, передававшееся из поколения в поколение, создало особый тип ямщика — профессионала, своего рода героя большой дороги, жизнь и быт которого вошли в русский народный эпос, в виде песен о дальней дороге и ямщиках. Эти песни, рисующие жизнь больших дорог, до революции были любимейшими песнями русского народа и были вывезены нами даже в эмиграцию. До сих пор среди русского зарубежья большой популярностью пользу-

ются песни: «Дороги», «Тройка», «Когда я на почте служил ямщиком», «Однозвучно гремит колокольчик» и «Смерть ямщика».

По началу дорожного дела на Руси ямскими услугами и кормом на «ямах» могли пользоваться только посланные по казенной надобности люди, послы и гонцы, а затем и частные лица, но уже за плату. Для следования им выдавались «подорожные», т. е. документы от казны, причем до нашего времени дошла одна из таких бумаг, выданная в 1433 г. подьячему Елке от Великого Князя Ивана III-го.

В прежнее время каждая ямская слобода, обыкновенно располагавшаяся у въезда в селение, в город или у почтовой станции, имела свое «пятно», т. е. отличительный знак, вроде герба, которым отмечались, как тавром, ее кони, и который находился на экипажах. Так, в Московской губернии по одному из трактов, на Броницком яму, это было изображение волка, на Зайчевском — зайца, на Костецком — летучего змея, на Яжелбицком — слона и т. д.

Для управления всеми делами ямской гоньбы в Московской Руси имелся специальный «Ямской приказ», во главе которого стояли: боярин, думный дворянин и два дьяка. В последующие времена почтовой гоньбой ведал шоссейный департамент Путей Сообщения.

Главным лицом на почтовой станции являлся «станционный смотритель», незначительный по своему рангу маленький чиновник, которому обыкновенно давался первый чин, согласно петровскому табелю рангов — чин, который в теории должен был избавить его от побоев проезжающих, но в действительности избавлял не всегда. Что это была за должность, о том красноречиво говорит Пушкин в начале своей повести «Станционный смотритель».

«Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранился, кто в минуту гнева не требовал от них жалобной книги, дабы вписать в нее свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитал его извергом человеческого рода, равного покойным подьячим

или муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти и в его положение и, может быть, станем судить его гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Это сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный далеко не всегда своим чином токмо от побоев. Ему нет покоя ни днем, ни ночью; всю досаду, накопленную за время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Проезжий смотрит на него, как на врага, а потому, если не случится свободных лошадей, какие ругательства, какие угрозы не сыплются на его голову! Случится проезжий генерал — и дрожащий смотритель отдает ему последнюю тройку. Генерал ускакал, не сказав спасибо, а через минуту колокольчик — и фельдъегерь бросает ему на стол подорожную с тремя перьями».

Добавим уже от себя, что фельдъегеря Николаевского времени являлись ужасом и кошмаром почтовых станций, так как от них не спасали смотрителя, при малейшем упущении, ни его чин, ни лета, ни состояние здоровья. Каждая почтовая станция была обязана держать наготове, круглые сутки подряд, три лучших тройки, именовавшиеся «фельдъегерскими», которых смотрители не имели права давать никому, помимо их прямого назначения, так как в любую минуту, при появлении на станции фельдъегеря, кони эти должны были мгновенно запряжены и с места в карьер скакать, не взирая ни на погоду, ни на состояние дороги. Фельдъегерская гоньба при этом была такова, что многие лошади не выдерживали перегона и проезд по району фельдъегеря знаменовал собой десятки загнанных и павших в пути коней. Подорожные в эту эпоху различались на простые и курьерские, в которые, для обозначения быстроты езды, втыкалось перо, и фельдъегерские с двумя перьями. Какова была быстрота передвижения фельдъегерей, показывает факт, что расстояние между Петербугом и Москвой в 500 верст они пролетали в 30 часов.

Дальние путешествия в прежнее время на лошадях по дорогам имели, в связи со способом перемены по пути лоша-

дей и экипажей, различный характер. Ездили «на перекладных» или «на переменных», т. е. когда путешественник не менял экипажа, а сменял только лошадей на станциях. Затем ездили «на долгих», т. е. не на сменных, а на одних и тех же конях, иначе именовавшихся «протяжными». Так ездили помещики, пользуясь собственными экипажами, лошадьми и прислугой и только отдыхая время от времени на станциях.

Существовала еще разновидность езды «на передаточных», заключавшаяся в том, что путник ехал на переменных лошадях, причем один ямщик передавал проезжего другому, и каждый за эту передачу удерживал часть платы вперед, почему последнему ямщику доставалось вести почти даром, а проезжий вынужден был расплачиваться за эти плутни. Проезд в отношении коней, разделялся на казенных, почтовых и на обывательских, нанимаемых у жителей по вольной цене.

Экипажами, служившими для путешествий, были бричка и тарантас для людей небольшого достатка и рыдваны и кареты для людей богатых. Для защиты седоков от дождя и снега, на экипажах открытых устраивались навесы из кожи или рогожи, натянутых на дуги из лозы. Сани с таким прикрытием назывались «кибиткой», а сани с кузовом, в виде кареты, «возком». Впоследствии, в 20-х годах прошлого века, появились «дилижансы» — тесные и низкие возки, обтянутые кожей с двумя оконцами. Такой дилижанс был разделен перегородкой так, что четыре человека, по двое с каждой стороны сидели друг к другу спинами. Так как в обыкновенном возке можно было лежать, а в дилижансе только сидеть, то ямщики прозвали этот последний «нележанцем».

В старое время по зимам были особенно распространены возки, спасительные в зимнюю стужу, но «почти непереносимые», как вспоминает один из старых путешественников. Помню, что в усадьбе отца, в углу каретного сарая, стоял «бабушкин возок» — низкая каретка на полозьях, обитая изнутри мягкой светло-серой обивкой и с чрезвычайно удоб-

ными сидениями. На моей памяти возок этот употреблялся лишь однажды, когда среди зимы, со станции железной дороги должна была приехать моя мама с младшим братом, бывшим тогда грудным младенцем, и возок послали за ними, чтобы не простудить ребенка. В остальное время он выполнял обязанности гардероба нашего старшего кучера Алексея, который хранил в нем зимой свои шелковые цветные рубашки и бархатные поддевки, а летом кафтаны с наваченным задом.

Из больших дорог, оставивших память в русском эпосе, надо прежде всего назвать знаменитую «Владимирку», по которой отправляли в Сибирь ссыльных, которых русский народ, независимо от их преступлений, считал «несчастными» и не осуждал, по пословице, что «от сумы и от тюрьмы никто не гарантирован». На юге России большой популярностью пользовались так называемые «татарские шляхи» — большие, одиннадцати сажен в ширину, степные пути, обсаженные по обе стороны ракитами и шедшие с юга на север. По ним когда-то из степей Дикого поля, на соломенную московскую Русь, не раз ходили рати Тохтамыша и Батыя.

С понятием о жизни большой дороги на Руси, о тройках и ямщиках, в народной памяти неразрывно связаны также предания и рассказы о разбойниках, с которыми часто ямщики действовали заодно в деле ограбления проезжих путников.

В этом отношении, помимо всяческих рассказов и легенд на эту тему была в действительности известна, как разбойничий притон, деревня «Поимы», первая почтовая станция от уездного города Чембары, Пензенской губ.

В середине прошлого века это было большое село, расположенное на сибирском тракте, жители которого крестьяне-старообрядцы были крепостными графа Шереметева. О них носилась дурная слава, что здесь «пошаливали», т. е. при случае занимались грабежами и убийствами проезжих. Некоторые дворы этого селения, расположенные вдоль тракта, довольно далеко один от другого, существовали исключительно грабежом проезжих, ввиду того, что все проезжие в

Сибирь и из Сибири помещики и купцы, направлявшиеся в Пензу, Казань, Пермь и за Урал, проезжали через Поимы. Здесь им приходилось кормить лошадей и ночевать.

И если неосторожный путник, не знавший о дурной славе села, по уговору его ямщика, решался заночевать один, без спутников, то далее ему уже не было суждено продолжать путь. Ночью хозяин и его соучастник-ямщик душили проезжего, а затем относили его труп в овин, стоявший в стороне, который затем поджигался. В селе, благодаря этому, существовал обычай, что, если у кого нибудь ночью горел овин, никто на тушение пожара не шел, а на утро к хозяину-погорельцу собирались все влиятельные лица деревни, и погорелец задавал им пир. Кости сгоревшего зарывались в оврагах и лесах и исчезали бесследно, а путник зачислялся «без вести пропавшим».

Дальние поездки дворян-помещиков обычно напоминали собой целые экспедиции, так как их поезд состоял часто из многих экипажей. Впереди, заранее, обычно выезжала бричка с поварами, кухонными принадлежностями, припасами-продуктами и спальными принадлежностями. С господами ехала многочисленная челядь. Отправляясь в путешествие, бары забирали с собой груду всевозможных сундуков, ящиков, чемоданов, коробов, перин и подушек. Дорожный погребец, кроме того, являлся неизбежным спутником всякого путешествующего помещика. В погребце было все, что нужно для дорожного завтрака и чаепития.

Вот как описывает сборы в путешествие «на долгих» мой дед, писатель семидесятых годов Евгений Марков, в своей книге «Барчуки», касающейся старой, помещичьей жизни крепостных времен.

«Батюшке моему казалось в высшей степени непристойным, неудобным и лишенным всякого смысла — стеснять себя хлопотами о подорожных, наймом лошадей на станциях, расплатами на водку, ожиданием лошадей на станциях и безобразной ездой с пьяными ямщиками. А главное, оскорбительной необходимостью ему, столбовому дворянину и именито-

му помещику, прописываться, как беглому холопу, через каждые двадцать верст в казенных книжках и предъявлять свой паспорт, словно какому-нибудь начальству, прохвосту-станционному смотрителю. Не беда, конечно, проделывать все эти унизительные обряды какому-нибудь голоштанному землемеру или секретаришке, но в барских просторных сараях Теребужа стояли же для чего-нибудь грузные петербургские кареты, с высокими парными козлами и крытыми запятками, варшавские коляски и казанские тарантасы. Кормились же для чего-нибудь в длинных конюшнях два шестерика сытых и крупных «каретных» лошадей, с волнистой гривой, с щетками до земли, толстошейные, толстоногие, волы — волами, не считая разгонных троек и многочисленного табуна. Держался же для чего-нибудь целый штат кучеров, каретных и троечных форейторов, конюхов и в лакейской целая свора лакеев, а на кухне два повара с поварятами. Нет, батюшка мой никогда не ездил, никогда и помыслить не мог «на своем», в «своем» и «со своими»...

В русской литературе, по вопросу о путешествиях на лошадях по дорогам, писали многие во главе с Пушкиным в его «Станционном смотрителе», Львом Толстым в «Поездке на долгих» и графом Сологубом в его повести «Тарантас».

Дальняя дорога на лошадях по русским полям и весям — удивительная школа здорового патриотизма и здоровой поэзии. Это прекрасная школа для изучения своей родины и своего народа, — гораздо глубже, искреннее и плодотворнее, нежели по учебнику географии.

Я сам прошел в детстве эту бодрящую и поучительную школу до постройки в наших местах железной дороги и на себе испытал ее могучее жизненное влияние, которое вспоминаю с отрадным и благодарным чувством.

Помню и никогда не забуду неохватный простор русских полей, который провожал меня дни и ночи, тенистые леса, тихие и темные, с таинственно вьющимися тропами и лесными дорогами, по которым экипаж двигался мягко и неслышно. Никогда не забуду голубые, заманчивые дали с бе-

лыми церквами, барскими усадьбами, деревнями и гумнами, уходящую из глаз широкую ленту дороги, густо, как аллея, обсаженной ракитами, и среди них на каждом шагу обозы нагруженных телег, со здоровыми коренниками под высокой расписной дугой, с краснорожими мужиками в лиловых и синих рубахах. Помню, как вчера, группы странников с котомками за плечами, с длинными палками в руках, встречные коляски и тарантасы, почтовые тройки с колокольчиками.

Все это врывалось в душу новыми чувствами и осаждалось в глубине детского сознания радостным представлением о неисчерпаемой красоте, обилии и силе нашей великой, русской родины. . .

Родные гнезда

Дворянские усадьбы. Родные гнезда. Нянюшка Марья Григорьевна. Знахарка. Дуняша. Морозиха. Далекое прошлое. Пожар в деревне. Троицын день. Престольный праздник. Ярмарка в Коренной Пустыни. Старый Воронеж. Грустный сочельник. Народные праздники и приметы на Руси.

ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ

Русское образованное общество начало интересоваться дворянскими усадьбами лишь в начале 80-х годов, когда впервые, в связи с помещичьим разорением, зазвучали в литературе ноты печали, связанные с уходящей и гибнувшей красотой дворянских гнезд и со всем тем сложным и поэтическим миром, который навсегда уходил с ними в прошлое...

Тургенев первый начал писать о тоске запущенной усадьбы и об уходящих с ней красоте, покое и уюте. В «Дворянском гнезде» «Месяце в деревне» и в «Трех портретах» впервые в русской литературе появляются, окутанные элегической дымкой старинные усадьбы со скрипучими половицами, темными залами и портретами предков на стенах, окруженные заросшими парками и населенные тихими девушками, светлыми мечтательницами.

Эту грустную лирику за Тургеневым подхватывают Чехов и Алексей Толстой своими рассказами, повестями и поэмами из дворянского оскудения. Нежная грусть старых усадеб переносится Борисовым-Мусатовым и Левитаном на талантливые холсты, и постепенно поэзия и прелесть уходящего прошлого, незаслуженно поруганного и так мало оцененного в свое время, охватывает лучшие круги русского общества.

Руководители журнала «Мир Искусства» в первые годы нового века открыли в быте и обстановке дворянских усадеб подлинную русскую художественную культуру полутора

последних веков, получившую так поздно и так внезапно всеобщее признание. Из под вековой пыли были разысканы дивные портреты, прекрасные художественные произведения, целое забытое и так несправедливо заброшенное искусство.

Русское общество, рабски преклонявшееся перед всем иностранным, открывает сначала красоту московских подмосковных, а затем и других культурных дворянских углов России. В старых дворянских гнездах находят прекрасные архитектурные идеи, чудесные парки, террасы, фонтаны и статуи забытых скульпторов, громадное чисто-русское искусство декоративного убранства. И постепенно на смену поэтическому интересу к усадьбам приходит серьезный эстетический интерес.

Большие вклады в изучение дворянских гнезд вносят журналы «Старые годы» и «Столица и Усадьба», начавшие выходить в десятых годах текущего века. Оказалось, что, вопреки всем нападкам на прошлое помещичьего класса, наследство оставленное дворянско-помещичьей Россией было громадно: все русское искусство елизаветинского, екатерининского, александровского и николаевского времен так или иначе было тесно связано с усадьбами. Кроме интереса художественного в обществе пробудился интерес и чисто исторический к быту тех людей, которые строили усадьбы и жили в них, к их обстановке, их жизни и творчеству. Выросло обширное русское — «усадьбоведение», открывшее глаза обществу на пленительную сложность русского искусства.

В результате изучения усадеб открылась новая полоса русской культуры, интересная и важная не только совершенством своих материальных созданий, но и по своим мыслям, своей особой поэзии и философией, своими верованиями и вкусами.

«Трудно отделаться от элегического настроения», пишет знаток русского искусства Н. И. Мишеев, «когда думаешь об усадьбе русского помещика. Всплывают видения, созданные гением Пушкина, Тургенева, Гончарова и Толстого. Проходят картины быта, так любовно описанного ими. Слышатся ста-

рые вальсы и тихие голоса тех женщин, присутствие которых освещало жизнь. Татьяна, Лиза, Наташа, Марфинька, Вера, бабушка из «Обрыва», Татьяна Марковна, бессмертная няня Арина Родионовна... Образы верных слуг и исполненных своего достоинства, чести и порядочности господ из «Детства и отрочества». А кругом широкая, милая сердцу природа, неотделимая от их всех. Наконец, лучшие наши писатели так тесно связанные с этими усадьбами. Как все это близко и в то же время бесконечно далеко! .. Ушло и ушло навсегда. Еще на наших глазах стал исчезать этот быт, и так быстро. Мы все еще хорошо помним эту печальную эпоху «дворянского оскудения», перезалога имений, продажи их Лопатиным, рубку «вишневых садов», разрушение барских домов с колоннами.

Правду надо сказать, не живучи были традиции в русском народе и, в особенности, в его интеллигентских кругах. Не умели мы всей душой прирасти к былому и уметь его хранить. В течение всего 19-го века у нас каждое новое поколение отрицало старое; между «отцами и детьми» шла постоянная война. Редкий из нас любил свои насиженные гнезда. В исчезновении дворянских усадеб такая «психика» сыграла решающую роль. Зато теперь мы полны этими «гнездами», теперь мы вызываем в себе к жизни все забытые традиции. В этом, быть может, единственное благое на нас влияние революции. Она научила нас любви к быту, где было столько красок, тепла, крепости, почвы под ногами, сочности и яркости. . .

За последние годы сохранение старины и ее восстановление в виде исторических музеев и памятников наблюдается даже в СССР, правительство, которого уж никак нельзя обвинить в пристрастии к прежнему. Во дворце графов Шереметьевых в СПБ, и в их подмосковной усадьбе созданы «музеи помещичьего быта», куда собраны все уцелевшие от мужицких «иллюминаций» предметы помещичьего быта и остатки художественных вещей, найденных по барским усадьбам. Первоначальной целью этих музеев, конечно, было под-

черкнуть разницу при царском режиме между бедными и богатыми, но постепенно музеи эти стали для посетителей образцами прежнего красивого быта, который исчез навсегда и к которому посетители относятся не с осуждением, а с искренним и нескрываемым восхищением.

РОДНЫЕ ГНЕЗДА

Предки мои, переселившись из Тульской области в Курскую при первых Романовых, основали в этой последней свои новые вотчины под теми же именами, которые эти последние носили в Крапивне, именно: «Теребуж» и «Богородское», ставшие родовыми гнездами нашей семьи.

В начале текущего века, когда в Теребуже, при тамошней церкви, был построен семейный склеп, были вырыты из земли для переноса в него гробы предков и в том числе старшего из них Антипа Наумовича, жившего в царствование царя Михаила Федоровича. Гроб его, дубовая колода, оказался настолько ветх, что развалился при переноске и открыл скелет предка с длинной седой бородой и в боярской одежде до пят.

Теребуж, находившийся в 18 верстах от уездного города Щигров, на берегу светлого пруда, и был нашим родовым гнездом, в котором сохранились еще развалины старого дома, насчитывавшего когда-то 40 комнат и сохранившего о себе память в нашей исторической литературе. Постепенно увеличиваясь в числе, наша семья широко расселилась вокруг Щигров, одного из самых ничтожных и бедных городков России, созданного в административных целях указом Великой Екатерины. Зато самый уезд был богатый, обширный и замечательно плодородный; его земли оценивались банками на 20% выше земель других уездов Курщины, и, одновре-

менно с тем, он являлся по качеству земли одним из трех лучших уездов в России. Пахота из-под тяжелого плуга в этом жирном черноземе выходила такая, что о ней говорили: «выросло бы дитя, когда бы посадили».

«Теребуж» принадлежал в мое время брату моего деда Николаю Львовичу Маркову 1-му, члену Государственной Думы от Тамбовской губернии и председателю Правления Юго-Восточных железных дорог. В 10 верстах от Щигров, с другой их стороны, находилась усадьба и имение «Александровка» моего родного деда Евгения Маркова — писателя 70-х годов, описанные в его биографической повести «Барчуки», в которой он изобразил ряд картин старого помещичьего быта крепостных времен.

В 25 верстах от тех же Щигров было расположено имение моего отца «Знаменка» при селе Покровском, также одно из родовых поместий семьи. В 10 верстах от города, но в другом направлении, по железной дороге на Курск, при станции «Охочевка», была расположена усадьба того же имени, владельцем которой был младший брат отца — член Государственной Думы Николай Евгеньевич Марков 2-й. В 15 верстах далее было имение моего деда по матери В. И. Рышкова — «Озерна», при селе того же имени. Здесь же, в трех верстах от усадьбы деда, было имение «Моховое» Н. Б. Бобровского, женатого на младшей сестре моей матери. Помимо перечисленных усадеб, в 10 верстах от г. Курска, на первом полустанке от него по Харьковской ж. д. находилось «Рышково», имение двух теток матери «Букроевка», отстоящее в 30 верстах от Щигров.

При таком сосредоточии в одном уезде стольких помещиков, связанных между собой близким родством и обладающих на дворянских выборах многими голосами, или, как тогда говорили, «шарами», наша семья имела большой вес в своих местах и, будучи по своим политическим взглядам крайне правой, не только пользовалась большим влиянием на дворянских выборах, но и имела сильную руку при выборах, как в земские, так и в общегосударственные учреждения.

Благодаря такому порядку вещей, мой отец многие трехлетия подряд был избираем в уездные предводители дворянства, брат отца во вторую, третью и четвертую Государственную Думу, где являлся лидером крайне правых, а муж тетки Н. В. Бобровский долгие годы занимал, до самой революции, должность председателя Земской Управы, сменив на этом посту моего деда-писателя Евгения Маркова, умершего в 1903 г. в Воронеже на должности управляющего Дворянским Банком. В память этого деда в Щиграх существовала публичная библиотека его имени.

Немудрено поэтому, что наш уезд, являвшийся опорой людей правого направления, был перед революцией бельмом на глазу левых кругов и их прессы, почему в 1912 году газета «Русское Слово» даже сочла полезным послать в Щигры своего специального корреспондента Панкратова, для того, чтобы на месте найти какие-либо данные, которые более или менее могли скомпрометировать в глазах общественного мнения те правые круги, которые выдвинули на политическую сцену в России Маркова 2-го и Пуришкевича, прошедшего, несмотря на свое бессарабское происхождение, также от нашего уезда. Корреспондент «Русского Слова» прожил в Щиграх около месяца, тщетно выискивая неправды и, наконец, напечатал в своей газете три подвальных фельетона под общим заглавием «На родине Маркова 2-го», в которых, кроме мелких обывательских сплетен, ничего не было, почему они и прошли незаметно для читающей публики.

Удостоила в 1923 г. вспомнить Маркова 2-го и советская пресса, в лице газеты «Правда», пославшей в Щигры одного из своих корреспондентов, Кольцова. Этот последний, после изложения своих длинных разговоров с крестьянами о прошлом, ничего не нашел лучшего, как обвинить отца и дядю в том, что они, будучи врагами революции, энергично работали по проведению столыпинской реформы выделения на хутора крестьян, благодаря чему, по выражению Кольцова, на «сцену вышел крепкий кулак-хуторянин, верная опора царского режима и враг всякой общины». Это заключение

советского борзописца является лучшей аттестацией той полезной для России деятельности, которую вели в их родных местах мои отцы.

Ввиду того, что владелец «Теребужа» Н. Л. Марков, весьма занятый своей службой и политикой человек, к тому же имевший крупные имения в Тамбовской губернии, редко приезжала в свое родовое гнездо, то центром трех поколений нашей семьи являлось имение моего родного деда «Александровка», построенное моим прадедом Львом Александровичем на новом месте после раздела с братьями.

НЯНЮШКА МАРЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

Сосной и земляникой
Пахнет старый бор...

Марья Григорьевна, в руки которой я попал, будучи отнятым от материнской груди, жила у нас в семье несколько десятков лет и до меня вынянчила мою матушку. Она была из крепостных крестьян моего деда, чем очень гордилась и ставила на вид всей остальной прислуге, что она не «чужая», а «своя спокон веков». Это была пожилая, но могучая женщина большого роста с величественной походкой и манерой держаться. У нас в семье она была окружена всеобщим уважением и ее нежно любила мать, которую Марья Григорьевна, несмотря на замужество и трех детей, по старине, называла «барышней». Никому в голову не приходило ее называть «няней», уже не говоря «нянькой», а только ласково-почтительно «нянюшкой». Была она опытной воспитательницей на старый манер и прекрасной рассказчицей не только сказок для детей, но и старых былей из крепостного времени, всегда интересных и поучительных. Рассказы свои она начинала обыкновенно по вечерам, уложив нас по кроваткам, и ее были и небыли предназначались не столько для нашего усыпления, сколько для поучения остальной прислу-

ги и главным образом молодой няньки моего брата Дуняши, которую Марья Григорьевна презирала за то, что она была «не своя», а хотя и «курской породы», но из другого уезда.

По выходе моей матери замуж, Марья Григорьевна по какому то неудовольствию несколько лет, как она выражалась, прожила «на воле», т. е. поступила в няньки к помещикам С., но этот период своей жизни не любила и господ С. не одобряла, главным образом за то, что «ихняя барыня допустила себя до того, что на простыне померла». Что именно это означало я, несмотря на жгучее любопытство, так никогда и не узнал. На все мои расспросы по этому поводу нянюшка неизменно отвечала «молод еще, батюшка, все знать!» Почему история барыни С. так и осталась навсегда неразгаданной тайной моего детства, хотя произвела такое впечатление, что я помню это до сих пор.

Няня провела свою молодость в Брянском уезде Орловской губернии, который был покрыт дремучими лесами, почему хорошо знала и понимала лесную жизнь и в свою очередь сумела привить и мне любовь к лесу, которой я остался верен всю жизнь. Была Марья Григорьевна также женщиной глубоко спортивной, если только это выражение применимо к тем патриархальным временам: была она неутомимым ходоком, пловцом и искусницей по грибной части, крепкой и наредкость сильной женщиной.

Когда мне было лет 5-6, отец строил железнодорожную ветку Брянск-Орел и мы, покинув родную усадьбу, поселились поэтому в окрестностях г. Калуги, на даче, принадлежавшей местному богачу Теренину. Она стояла на самой опушке огромного, почти девственного леса или «бора», изобиловавшего семьями веселых белок, очень забавлявших нас с братом. Бор этот переходил в ветвистый лес и был так велик и дремуч, что даже с нашей опытной нянюшкой мы никогда далеко в него не заходили, опасаясь заблудиться. Об

опасности потеряться в лесах очень красноречиво при этом повествовала сама Марья Григорьевна, вспоминая приключения своей молодости, причем в ее рассказах неизменно фигурировали разбойники, болота, засасывающие в свою топь неосторожных путников, медведи и волки, и в особенности лешие.

Об этих последних няня рассказывала особенно охотно и с большими подробностями. Все их повадки и обычаи и даже частную жизнь она знала досконально, так как неоднократно с ними встречалась и имела дело.

Так например, в один знойный полдень, она собирала, будучи девушкой, землянику и заблудившись набрела «на самое их гнездо», причем была свидетельницей, как лешие «друг у дружки в шерсти блох искали». По словам Марьи Григорьевны она спаслась только тем, что знала на них «слово», а именно «заругалась навыворот черным словом», благодаря чему лешие ее «не учуяли», иначе бы «загоняли по лесу» до смерти.

В сотне шагов от нашей дачи, скрытое лесной чащей, находилось небольшое озерцо, в котором население дома купаться не решалось из-за обилия в нем черных и жирных пиявок. Нянюшка, однако, не только смело в нем купалась, но и позволяла им в себя впиваться, как она объясняла «для здоровья». Пиявок этих кроме того она «воспитывала» в банке из под варенья, припуская их к шеям дворовых, искавших у Марьи Григорьевны исцеления, главным образом после перепоя. Няня знала не только «нужные слова» и верные приметы на все случаи жизни, но и была опытной, славившейся по всему округу знахаркой. Она знала много заговоров и имела целую аптеку всевозможных «средствий» от всех болезней. Родителям о своей медицинской практике она никогда не говорила и запретила говорить об этом и мне, так как по ее твердому убеждению народные средства были дейст-

вительны только для «простых людей», а не для господ. На предмет знахарской практики у нее были лекарства и советы совершенно оригинальные и часто неожиданные. Так, среди всевозможных коробочек и тряпочек она хранила всегда наводившие на меня ужас «лягушачьи кости» и «мозоль утопшего пьяницы». Помню также один из ее медицинских советов, когда она посоветовала жене кучера, тосковавшей после смерти ребенка, утонувшего в гусином корыте, «придавить нос свадебным сундуком». От этого у кучерихи должна была пропасть тоска и родиться новый ребенок.

Лес мы с братишкой, благодаря няне, сумевшей его одушевить своими рассказами, полюбили всей душой, и нянькам стоило больших усилий ежедневно вытащить нас из него на завтрак и обед.

Надо сказать, что лес этот был действительно совершенно сказочным и имел такой первобытный вид, что когда много лет спустя мне пришлось увидеть в Третьяковской галерее известную картину Шишкина «Утро в сосновом лесу» я сразу вспомнил и мысленно перенесся в калужские леса моего детства. Сходство было тем более разительным, что медвежья семья на картине в моем сознании неизменно была связана с понятием о лесной жизни, так как в рассказах няни медведь фигурировал в ней обязательным элементом. Медведи тогда водились в изобилии и, помимо прирученных медвежат, живших у нас на даче, я часто видел и взрослых зверей, которых приводили к нам поводыри, и медведи при этом изображали всякие фокусы.

Под нежной и заботливой опекой Марьи Григорьевны я прожил до 10 лет, когда она погибла неожиданно и трагично.

Поехав в отпуск, в родную деревню, где у нее были родственники, няня по льду стала переправляться пешком через реку Сойм, не слушая уговоров и надеясь на свою силу и знакомство с рекой. На середине она провалилась под лед и

больше не выплыла, скончавшись вероятно от сердечного шока, вызванного слишком холодной водой. Ее смерть от меня долго скрывали, пока время и новые школьные впечатления не изгладили живой образ нянюшки Марьи Григорьевны из короткой детской памяти.

ЗНАХАРКА

Когда у старосты нашей усадьбы Семена Дементьевича разболелся наколотый им палец на правой руке, земский врач разрезал нарыв, но староста загрязнил ранку и рука у него, как определили бабы, «прикинулась болеть».

Дементеевич, человек пожилой, помнивший еще старые времена, доктору — человеку молодому — не доверял и, посоветовавшись со своими бабами, решил, что рука у него разболелась от того, что ее доктор «резал», чего люди старого порядка всегда опасались. Было решено поэтому вызвать для лечения из села Стаканова, отстоявшего от нас в 25 верстах, знахарку Федосью Ильиничну, пользовавшуюся далеко вокруг репутацией замечательной исцелительницы.

Мама моя, не верившая ни в какие знахарства и в так называемые «народные средства», зная о моем приятельстве со стариком, с которым у нас была общая страсть — ловля перепелов, велела мне присутствовать при визите к больному знахарки и затем доложить ей о том способе лечения, который она пропишет, чтобы она не уморила Дементеевича каким-нибудь лошадиным средством.

Сидя поэтому у кровати больного, я был свидетелем того, как в его комнату вошла сухощавая, опрятно одетая в темное и повязанная платком старуха. Она неторопливо перекрестилась на образа в углу и, низко поклонившись нам, подошла к больному.

— «Что, бабушка, — можешь мне пособить»? — спросил старик, пытливо вглядываясь в лицо знахарки.

«Посмотрю, посмотрю, кормилец», спокойно отвечала бабка, ловко развязывая его больную руку. Она внимательно осмотрела затем распухший палец и покачала головой.

«Эх, батюшка, батюшка! Зачем давал дохторам резать? Ишь ведь как они пальчик твой испортили... ножом потиранили. Положим, что Господь и теперь может помогу послать, а только понапрасну ты, кормилец, муку принял... Потому, неумеючи, и браться им нечего было за это дело, человека обманывать»...

— «А что-ж это за болезнь?» — осведомился тревожно больной.

«Болесть эта, батюшка, по-нашему, прозывается «волос». И очення она злобная, ежели волос из человека не вылить. Только не всякому дано это сделать — а я могу. Сколько разов выливала, так что он, бывало, сам выползет из гнездышка да на мой перст и навьется червяком».

— «Слушай, бабка», — с надеждой заговорил Дементеевич: «ежели ты меня вылечишь — я ничего не пожалею... Этот палец, чума его возьми, мне хуже смерти стал!.. А как, бабушка», вдруг тревожно спохватился он: «есть-то мне можно? А то вон доктор был, говорит, пока жар держится, чтобы на еду не налегал». Федосья сдержанно засмеялась.

«Да, как же, батюшка, не можно? Да с чего же и скотинка жива, как не с травы, а человек с еды? Конешно, доктора тебе должны есть не дозволять, им ить на руку, ежели люди хворают. Но только, помяни мое слово, от еды человек с постели скорее поднимается. Вот скажем — лошадка захудает, с ног валится, а поправишь ее кормом, она опять хвостик трубочкой поставит. Тоже и человеческое положение: не доспишь, не доешь — и здоровый повалишься. А по моему разуму — больному надо еще больше на пищу уповать, нежели здоровому. Ить, нынешние времена, батюшка, уж очень хитры стали.

«Вот воспринимала я ребенка у одной чиновницы. Она мне и говорит: «Бабка, ты хлеб ешь»? — «Как же его, говорю, кормилица, не есть — без хлеба, говорю, жить нельзя». — А я, говорит, не ем — доктора не повелели; беспременно приказывали: «не ешь хлеба, а то с него пропадешь». «И что ты, матушка», учу ее «в уме ли ты и с дохтурами твоими?» Кто-ж таки на крещеной Руси и у нас без хлеба живет насушного? Не только человек, говорю, а и свинья некрещеная с него толстеет. Вот без хлебушка, точно, можно в кажном месте пропасть.

«Она и засмейся. «Эх, ты», говорит, баба деревенская! Неужто же городские доктора хуже тебя знают книжки и разные законы?

«А какие же такие», говорю, «они книжки знают?» В каких законах сказано, чтобы хлебушко — дар Божий — позорить?

«Да от хлеба», кричит она, «человек толщеет!» Вот это правда, точно, говорю, «кому на пользу хлебушко идет, тот толщеет». И опять она залилась смехом, аж закашлялась: «с толщины», говорит, «человеку все болезни приключаются».

«Эх, матушка, матушка!» говорю ей: «Брось эту мудрость, что довела тебя до постели, а то доведет она тебя и до гроба. Ить я хорошо знала твою матушку покойную, царство ей Небесное — Дарью Петровну: не тебе, сударушка чета была... Двое мужиков в возок ее, матушку, пропихивали, да и в двери-то она бочком пролазила. Вот как по старому-то завету люди жили! А вот ты, сударушка, хоть хлеба не ешь, а как ниточка на кровати лежишь, и при молодости лет твоих тебе уж и жить нельзя. А ты все дохтура, да дохтура.

«Ты вон глянь, что в казенных больницах делается. Против всех болезней одно лекарство для всех полагается: бутыль огромная заведена, на окошке стоит, и той водой из нее и лечат и от головы, и от живота, и от ломоты, и от зубов. Зараз фершал поднимается с конника, взболтает эту бутыль, да и разливает бабам в пузырьки. Бездушные люди все ва-

ши дохтура. Вон, глянь, Марию Григорьевну тожо до хорошего положения довели. Сказать — не поверишь, без сна заморили. Кричат на нее: не спи, да не спи, а то, говорят, заболеешь и пропадешь. Зашла я к ней как-то вечерком — чаю напиться. Смотрю, сама не своя моя Марья Григорьевна, только что кожей косточки связаны, а сама чисто овцой кашляет. Совсем и человека не видать — одно предисловие осталось.

«Что это с тобой», говорю, «Марья Григорьевна»?

«Больная», говорит, «да, слава Богу, дохтур хороший попался, велел кобылье молоко пить и муницион делать».

«Ну», говорю, «молоко — это ничего, а от муциона храни тебя Господь. Давно уж, говорю слышу я об этом самом муционе, а хорошенько и до сих пор не знаю, что оно такое, только положит он тебя в могилу, верь на слово».

«Положим, кормилец», добавила бабка, понизив голос, «промежду дохтуров тоже есть с совестью и людям помогают. Но только мало таких, — ох, мало! Конешно, богатому человеку с ними можно жить, они ему и глаза переменят и зубов полон рот понаставят, ноги даже деревянные подвязать могут и ходить будут. Ну, а бедноте, не приведи Господи! Другой и рад помереть, да смерть не идет, а удавиться — грех. Ну, что тут поделаешь? Без гроша, конешно, к дохтуру хоть не ходи, ждет-ждет у него бедный человек в коридоре, а тому все некогда до самой ночи: «погоди, да подожди!» А то еще хуже — возьмет нож, да и отрежет руку или ногу».

«Ну, одначе, кормилец, дозволь я твою ручку еще погляжу, да поворожу, сатану отгоню, злую болезнь заморю», нараспев начала причитать старуха шопотом, перекрестившись на образа.

— «Эх, бабка! .. Боюсь я что-то», — несмело сказал Дементеевич, пожимаясь под одеялом — «что это ты хочешь делать со мной?»

«А ничего, батюшка, ничего! Не бойся, кормилец, вреда никакого не будет», успокаивала его бабка. «Мое лекарство все на хлебе да на молитве, а ножом, кормилец, не только че-

ловека, курицы и то отродясь не резала. Так-то, сударик, ежели хочешь, я тебе даже все и расскажу наперед, хоть сам делай, потому хитростей у меня нет от народа, я не таюсь.

«Перво-на-перво заварю я гречишную золу паром и разожгу камень самородный, да и положу туда, а ручку твою над этим паром держать буду. И возьму я тридевять ржаных колосьев, пустых, без зерна, и разделю на три пучка и окуну их в вар. Потом того, буду потихоньку наливать тот вар, простуженный через те пучки, прямо на больное местушко.

«Тут и молитву скажу: «от сухого, от грозного, от больного, от венчального голоса, от раба открошенного, от попаженного». И выговорю я это три девять раз и кину те пучки на жар. Сейчас и маслица возьму деревянного и сомну тебе пластырь, мяконький на пшеничной мучице, что от просвир осталась. Конешно, будет там и мыло, и вино, и березовые каточки молоденькие, перетопленные и сало свечное, и воск церковный, и другое, что показано в этой болести.

«Но только вперед пластыря надо делать припарки из каши гречневой, на пресном молоке. А каточки с молодых березок надо высушить, хорошенько истолочь, просеять и смешать с молоком коровьим. Вот как перетопится это, остудится, тогда и к пальчику твоему приложу для заживности. А к вечеру молитву прочту особенную, тогда он, волос-то и выползет мне на ладонь и обовьется вокруг перста. Ничего, отец мой, не бойся, я вреда тебе не сделаю», успокаивала старосту Федосья Ильинишна, ощупывая его больную руку выше локтя. «Дай-кось, кормилец, я еще погляжу на твою ручку», сказала она шопотом и начала опять осторожно развязывать бинты. Внимательно и долго ощупывала бабка больную руку и на ее смышленном выразительном лице заметно было крайнее беспокойство.

«Эх, батюшка, батюшка!» тревожно заговорила она опять, покачивая головой: «потемнел что-то твой пальчик... напрасно дохтура его резали. Теперь, вижу, и волоса выливать нечего, дохтура его до смерти ножами изрезали. Видно, уж теперь я тебе, батюшка, оставлю вот этот пластырь»,

продолжала она, доставая из кармана что-то. «Спуск этот, скажу тебе, тоже хорошую помогу человеку дает. Я, признаться, затем и взяла его с собой: без ножей, думаю, дело у них должно, не обойдется — первое удовольствие у них руку али ногу резать».

Старушка встала и низко поклонилась.

«Не обессудь на меня, отец», проговорила она нараспев: «я всей душенькой рада бы тебе помочь, да до меня еще все дело спорчено. Не плати мне ни злата ни серебра и не угощай меня едой сладкою, но только прости меня, старого человека» — и тихо вышла. Куча перепуганных баб, во главе с хозяйкой Дементеевича, встретила Федосью Ильинишну, и бабка долго сидела у самовара, угощаясь чаем и булками, и, наконец, одаренная пятаками и шалью лягушечьей раскраски, уехала к себе в Стаканово.

О рецептах знахарки я подробно рассказал матери, которая покачала головой и сейчас послала за доктором, с которым заперлась в кабинете и долго разговаривала. Чем окончилось это совещание, мне осталось неизвестным, что же касается Дементеевича, то, убежденный знахаркой в бесполезности врачебной помощи, он категорически отказался видеть доктора.

От пластыря знахарки ему, однако, полегчало на другой же день, а через неделю он, хотя еще и с подвязанной рукой, но уж ловил со мной перепелов в просяном поле.

ДУНЯША

В киоте вербочки сухие
И пук степного ковыля —
Святая, старая Россия,
Родная скифская земля...

Дуняша, как любовно называли ее у нас в семье, или Авдотья Ивановна, как почтительно именовали на усадьбе, жила у нас по ее собственному выражению «спокон века...» Родившись еще от крепостных родителей в усадьбе моего деда, она дворовой девочкой была подругой детства мамы и, после замужества этой последней, перешла в имение отца, в качестве кормилицы и няньки моего старшего брата.

От рано умершего мужа у нее было двое детей, которых мой отец прекрасно устроил в жизни. Дуняша, еще молодой бабой, свободной от всяких семейных обязанностей, влюбилась в нашего повара Андрея, красавца и силача, родив от него сына Яшку, который появился на свет Божий в один и тот же день и час с моим младшим братом Евгением. Это сближающее обстоятельство привело к тому, что они стали молочными братьями и неразлучными друзьями на всю жизнь.

Роман с Андреем отнюдь не повлиял на репутацию Дуняши, так как на усадьбе понимали, что она в качестве свободной женщины была вольна распоряжаться собой, как хотела. Эта связь, наоборот, помогла ей в жизни, так как от Андрея она научилась всем тонкостям его ремесла, и когда

повар был изгнан, в наказание за обман Дуняши, а брат поступил в кадетский корпус, няня заняла на кухне место своего соблазнителя, со званием «поварихи», что вызвало к ней почтение всей дворни, как к лицу, занимающему почетное мужское положение.

Войдя в годы, Авдотья Ивановна, как ее стали именовать, помимо своих прямых обязанностей, как женщина богомольная взяла постепенно в свои руки все иконы и лампады в доме, «блюла» праздники и стала непререкаемым авторитетом в вопросе о том, какому святому и в каких обстоятельствах надо было молиться. В ее комнате в святом углу висела большая серебряная икона Коренной Божией Матери, благословение мамы ко дню свадьбы Дуняши. Перед Коренной, считавшейся покровительницей нашей семьи, день и ночь теплилась неугасимая лампада зеленого стекла, а киот был постоянно украшен летом цветами, зимой пучком неувядающего и душистого ковыля-ямшана.

Когда я стал подрастать, Авдотья Ивановна, заметив во мне любовь к природе, терпеливо и любовно научила меня какой именно святой является покровителем того или иного скота и зверя. Так, я узнал от нее и помню до сих пор, что Флор и Лавр — покровители лошадей, Св. Власий — коров, Св. Мамоний — овец, Св. Георгий — волков, Зосима и Савватий — пчел, а в день Св. Духа бывает именинница сама земля, и в этот день ее нельзя ни пахать, ни копать. У самой Авдотьи Ивановны было очень любовное отношение ко всякой твари и свой собственный взгляд, хотя и не вязавшийся с учением церкви, на отношение Бога к Его творениям. «Если хочешь», говорила она мне, «чтобы твоя молитва дошла до Бога, то ни поп, ни монах не помогут; проси зверя, чтобы за тебя помолился — зверю у Бога отказу нету».

По церковной части ее советы были не всегда удачны. Так, помню, что однажды собралась у нас в доме стайка молодежи съехавшейся на Пасхальные каникулы и решившей совместно говеть на Страстной неделе. Узнав об этом, Дуняша уговорила нас ехать на исповедь в дальний мона-

стырь к знакомому ей старцу, жившему в затворе. Сама Дуняша только что у него говела и была в восторге, как от самого монаха, так и от его древнего требника, по которому он ее исповедывал. Особенно ее умиляло то, что старец продержал ее на коленях целый час, так что после исповеди она встать на ноги уже не смогла, а выползла из его кельи «на карачках», но зато уж он «всю ее душеньку до-чиста выполоскал», так что вернувшись домой, она почувствовала себя безгрешнее «младенчика».

Послушавшись няньки, мы на двух тройках отправились всей компанией в монастырь и вернулись из него с большим конфузом. Старец действительно оказался древним и сизым от старости иеромонахом, а его книга «номиканоном» совсем допотопного издания. Кавалерийский юнкер Петя, сын нашего соседа-помещика, пошел к нему на исповедь первым, и старец задал ему по своему требнику вопрос, так сказать, «по специальности», а именно: «не грешит ли он посещением конских ристалищ и скотоложеством»? На что недалекий Петя серьезно обиделся и даже хотел идти жаловаться настоятелю. За Петей к старцу в келью вошла моя кузина Зиночка, семнадцатилетняя институтка. Когда она стала на колени и подняла на затворника свои большие голубые глаза, в которых до дна светилась вся ее детская душа, старец сокрушенно вздохнул и долго перелистывал свою книгу, ища среди ужасающих средневековых грехов какой-нибудь поменьше, и, в конце концов, вместо того, чтобы спросить, не таскала ли Зина конфект из маминой шифоньерки, сухо осведомился «не ест ли она мертвечину и хищных птиц»? Отчего бедного ребенка тошнило всю обратную дорогу. После этих двух примеров, остальные члены нашей компании на исповедь в монастыре не решились и, очень смущенные, вернулись домой.

С дворней и крестьянами Дуняша была строга, но доброжелательна, себя же причисляла к «дому» и потому «соблюдала» везде и всегда барское достоинство, которому мы с братьями не придавали никакого значения, будучи представи-

телями нового поколения. Это не мешало Авдотье Ивановне вести свою линию, что ставило частенько нас в неловкое и досадное положение в отношении деревенских приятелей.

Как человек, помнивший крепостное право, она считала «господ», принадлежавшими к особой породе людей, к которой все другие обязаны были относиться не только с уважением, но и преклонением. Строгая блюстительница старых традиций, она постоянно портила дружеские отношения, которые мы, три брата, старались наладить с дворовыми и деревенскими ребятами, не решавшимися войти в «барский дом», но изредка посещавшими, по нашей просьбе, «поварскую», где царствовала Авдотья Ивановна. Здесь, однако, едва наш новый приятель немного разгуливался и начинал находить самого себя, как вдруг раздавался ее грозный окрик:

«Ты что это расселся с барчуком рядом? Ай он тебе ровня? Да ты знаешь, сукин-сын, ежели барин суды взойдет, ить он тебя убьет»!..

После такого предупреждения, конечно, наш новый приятель в испуге вскакивал, и вся с трудом налаженная интимность шла прахом, так как, оглядываясь испуганно на дверь, он стремился только к одному: поскорее уйти от опасной барской дружбы.

Почему Авдотье Ивановне казалось, что барин может войти и «убить» у нее на кухне кого бы то ни было, непонятно. Отец никогда в ее царство не показывался, и ему в голову не приходило обращать внимание на наших приятелей, а тем более их убивать. К самой Дуняше, как и все в нашей семье, он относился прекрасно и очень ценил ее преданность, что, тем не менее, не мешало ей панически бояться отца. Бывали правда случаи, когда из любви к нам, ребятам поведения отчаянного, она, преодолевая свой страх перед — «барином», героически выступала на нашу защиту. Это случалось в тех случаях, когда выведенный из себя нашей шалостью, выходящей из ряда, горячий и вспыльчивый отец хватался за хлыст. Не знаю уже, какими путями это намерение

доходило до «поварской», но неизменно каждый раз, едва знакомый нам арапник снимался со стены, сейчас же по коридору, ведущему на кухню, раздавался мышиный топот Дуняши, и она бросалась «в ноги» отца со слезами и воплем «пожалеть свою плоть и кровь». Смущенный этой библейской сценой, отец чертыхался и вешал хлыст на место, все же успев наскоро хлестнуть нас по тому месту, из которого у казаков растут ноги.

Позднее, когда мы, все три брата, нежно любившие Дуняшу, разъехались по корпусам, ни один из нас не забывал в каждом письме домой, послать ей поцелуй, что ее почему-то неизменно трогало до слез.

Дети Авдотьи Ивановны, когда она состарилась, весьма шокировались тем, что их мать продолжала служить «прислугой», так как к этому времени сын ее занимал должность начальника станции, а дочь была замужем за другим, и настоятельно требовали у матери поселиться у них. Со слезами и рыданиями старуха дважды пробовала исполнить их требование, но каждый раз снова возвращалась в свою «поварскую», категорически отказавшись от жизни на покое.

Революция совершенно выбила Авдотью Ивановну из привычной колеи, спутав в ее голове все понятия. Началось с того, что местными деятелями февральской революции был арестован мой отец «за сочувствие старому режиму и как царский агент», хотя он служил Предводителем Дворянства и чиновником никогда не был. Затем был убит какими-то проходившими солдатами единственный «сродник» Авдотьи Ивановны, служивший у нас в имении стражником. Когда мужики затем стали делить помещичьи земли между собой, старуха, плохо понимавшая происходящие события бросилась в ноги, как она всегда это делала в важных случаях жизни, барыне, с просьбой дать ее сыну Яшке земли за ее верную службу. Мачехе стоило большого труда объяснить старухе, что раз земля уже отнята, она не имеет права и возможности ее дарить кому бы то ни было, но что Яшка сам может потребовать от мужиков свою часть. Это, однако, Ав-

дотья Ивановна решительно отказалась понять, так как «черного мужицкого передела» не признавала и считала его «озорством», а желала получить для сына землю «законно» и из барских рук. Когда начался большевизм в наших местах я был на турецком фронте, а братьям, из которых один приехал с фронта, а другой из кадетского корпуса, земельный комитет отвел кусок нашей бывшей земли и хату, в которой они поселились с Авдотьей Ивановной и Яшкой.

Старший брат Николай, обожавший деревню и не мысливший жизни вне ее, воспользовавшись новыми условиями жизни, женился на красавице-крестьянке, и вместе с Яшкой они стали заниматься хозяйством на отведенном им клочке земли. При наступлении добровольцев на Курск брата и Якова мобилизовали в красную армию. Однако, их командир полка, кадровый полковник, сын крестьянина нашего села, у большевиков служить не стал, а, забрав с собой брата Николая и Яшку, перешел к белым в первом же бою. При отходе белой армии, Николай и Яков погибли, все же остальные члены нашей семьи попали заграницу.

Оставшись одна, осиротевшая Авдотья Ивановна, отказавшись жить у дочери в Москве, предпочла доживать свой век, поселившись на старом пепелище, у вдовы брата, которая вторично вышла замуж — сохраняя, таким образом, верность, хотя бы тени своих господ. . .

МОРОЗИХА

Живя в России, я очень любил так называемые «сумерки», т. е. около часа времени, которое протекает между заходом солнца и наступлением ночи. В это время у нас в усадьбе табун и стада приходили домой с лугов, и возле каждой из четырех кухонь, на завалинках, табуретках и просто на травке собирались перед ужином кучки служащих и рабочих обоего пола, наигрывала гармоника и тренькали балалайки. Это был час флирта для молодежи, бесед между людьми солидными и рассказов стариков о прошлом.

Самый интересный кружок собирался у задней двери «поварской», т. е. барской кухни, на зеленой лужайке, где стояли две врытые в землю скамейки и такой же стол, за которым летом обедала и ужинала прислуга нашего дома. Председательницей бесед в сумерки здесь являлась неизменно «повариха» Авдотья Ивановна; что же касается слушателей, то таковыми обычно были ее сын Яшка, две горничные, экономка, садовник и механик с винокуренного завода, представлявшие собой усадебную аристократию. Я очень любил, будучи мальчиком, эти вечерние посиделки, во время которых можно было услышать много интересного от много видевшей в жизни и много знавшей Авдотьи Ивановны.

Однажды, когда при мне зашел среди них разговор о колдовстве и колдунах, «повариха» рассказала нам следующую

историю, имевшую место в селе Озерном, откуда она была родом.

«Стояла у нас в деревне на самом краю хатенка-развалюшка, вся в кустах и лопухах, над глиняным обрывом. И жила в ней старая старуха, что этими самими делами занималась. На картах гадала, на воду глядела, кто у кого украл — угадывала, да признаться сказать, и народушко портила и до того даже дошла, что над начальством уродничать стала.

«Присудили раз, стало быть, наши озеренские старики на сходе сыну ее Ваньке иттить в солдаты, говорят, ты парень здоровый, за первый сорт можешь царю служить, опять же ты один, и кормить тебе некого; мать, все одно, не перезимует, да-с!.. А мать-то, гляди, это самое узнала, с печки сползла и рысью на сход, а стара была — меры нету. Может, сто лет, а може и боле. Бежит это она по улице, натыкается, а сама воет да плачет. Ну, народ смотрит на эту оказию, а какие мужички даже и оробели: Морозиха — старуху-то так звали, — баба хитрая, не напустила бы какой ни есть напасти... Да в кабак все и подались со схода. А Нефед-то староста, уже выпивши был, стал выхваляться перед народом, ругаться с Морозихой взялся. И даже вредными словами ее встревожил. Хорошо... Сорвала тогда это моя Морозиха с головы повойник и бросила ему под ноги, а сама разливается — плачет, волосы на голове рвет.

«Бабы, конешно, сбежались, народ сбился, смотрят, что будет. А Морозиха как закричит: «Ты Нефедка, помни себе и не забудь, хочешь сына родного у меня отнять — у тебя дочка родная Дуняшка пропадет... попомни мои слова и наплюй в глаза коли не сбудется! А Ванька мой, как родился в Озеренках, так тут и помрет, не быть ему в войске!..» Плюнула на ихний сход да и пошла домой.

«Что ж вы думаете то? Ведь оставила-таки старуха сына при себе, по сей день ходит по Озерне, не приняли на службу. Как раздели его в присутствии, как глянули на него, так все члены и диву дались. Смотрят, а у него все тело, как говядина красная, а жилы и рубцы черные по всему телу, слов-

но его тиранили, али что. Не гож, говорят, этот малый царю служить, ему — Батюшке пегих солдат не требуется.

«А все она Морозиха сделала», пояснила нам Авдотья Ивановна: «Зарезала ночью в сенцах телка и до утра поила сына кровью, а после того какими-то травами отпаивала его».

«А что ж», участливо спросила горничная Серафима Авдотью Ивановну, «Дуняшке-то той ничего так и не было?»

«Как же не было? Дуняшка — девка и по сей час сумасшедшая, прямо надо говорить не человеком сделалась. Весь ихний Панкратьевский дом осрамила Морозиха на всю округу. А двор-то их хороший был, богатый. Схватился тады Никифор Иванович, да поздно — вернуть нельзя! .. Он к Морозихе и прощенья ходил просить, на коленках возля ее ползал, а та, сказывают, на него только плюнула и рукой махнула. «Дурак», говорит, «камень в воду кинет, а умный его поднимает; теперь поздно — не воротишь».

«А что-же такое случилось с Дуняшкой-то?» спросила другая горничная, охваченная жутким любопытством.

«А то, девка, случилось, что и сказать страшно... уму помраченье. Просватал, стало-быть, он, Никифор-то Иванович, свою Дуньку и жених тоже, приличный мужчина был. Ходил аккуратно и скотиной торговал. Собрали поезд, к церкви тронулись, едут по селу, колокольцами звенят, по-мужичьему то-есть положению. Ан, смотрят, зараз Морозиха вышла из своей хаты и стала в сенцах, да и смотрит на молодых, смеется. А зубы у нее желтые да длинные, как у лошади... Глядь, а у нее из-под фартука что-то вывалилось и на земь упало, мешок не мешок, а завернутое что-то», таинственно добавила Авдотья Ивановна, опустив глаза. Слушавшие ее с широко раскрытыми глазами горничные враз пискнули от страха и прижались друг к другу.

«Хорошо-с, только повенчали молодых, еще и венцов снять не управились, а Дуняша и упади навзничь и давай играть на все голоса... плачет, хохочет — чистый срам, да и только... Что делать? Поп Семен и тот головой закачал. Да-с... Взялась моя Дуняшка с той поры кричать, да и сошла с ума.

И по сейчас, бедная баба, на цепи сидит у них под амбаром прикована, как собака. И малый пропал — не женат и не холост».

Авдотья Ивановна тяжело перевела дух, задохнувшись от длинного рассказа.

«Удивительное дело», протянул механик, который, в качестве городского человека, считал нужным перед горничными выразить скептицизм цивилизации.

«Да», продолжала Авдотья Ивановна, «только на этом дело не кончилось, Морозиха-то на том не успокоилась и весь корень ихний Никифоров стало быть перевела. Она и у невестки ихней Настасьи всех детей скрала».

«Как скрала»? испуганно спросила горничная Серафима, широко раскрыв свои галочьего цвета глаза.

«Да так, девка, и скрала, такое изделала, что таперича Настасья детей рожать не может. Морозиха, вишь всех ее деток в узелок завязала на суровой нитке... И каждый год все по узелку навязывает, а у Настасьи четырех-то детей нету».

«Ну, уж это пустяки!» Не выдержал, в свою очередь, и садовник. «Чистая брехня — быть того не может», возмутился он подобной несообразностью.

«Как не может?» Ответила старуха, скрывая невольно набежавшую улыбку: «стало, может, коли бывает. Ведь вот другим Морозиха назад детей отдала — ниточку, то-есть с узелками... У тех и детва завелась, а у Настасьи нет и не будет», с грустной уверенностью подтвердила она, «потом Морозиха-то ниточку с узелками ихнюю в печку кинула. Растопила ее соломой докрасна, да и кинула эту ниточку в самый жар. Так люди сказывают, слышали даже, как деточки закричали и заплакали в печке-то».

«Эх ты, молодой человек!» Обратилась она к садовнику: «и что ты ни в чем нам не поверишь? Да нешто люди все знают, что на свете есть и что может быть? Я, кормилец мой, у господ-то еще и не то видела, у них, голубь, и столы сами по горницам ходили, и души умершие выкликались. А

Морозиха-то, сынок, знает и того более... ох, много знает, окаянная! Да и не задаром у нее на кресте, что на шее висел заместо Христа Спасителя, подкова какая-то выбита была.

«И она, сударь мой, хочешь верь, хочешь нет, вот еще что сделала у нас в Озерне. Ходила она однова в лес... будет этому лет с двадцать назад. И стало быть, ходила она с лопатой: коренья какие-то копать. Хорошо-с. Вернулась она ночью поздно-поздно, вздула огонь. А караульщик-обходчик Егорка и подойди к окошку глянуть. И видит он, Морозиха оглядывается и все какие-то коренья да травы выкладывает из плетушки. А потом смотрит, и кубанчик медный вынула, и весь, говорит, деньгами серебряными набит.

«На утро Егоркина хозяйка, Катерина, зашла к ней, молочка принесла, яичек, потом, слово за слово, и поругались. Морозиха схватила зараз из сундука клубок ниток суровых, смотала их наспех, да и дунула изо рта на Катерину — так та и обмерла от ужастей... Пришла моя Катерина домой — нездорова да нездорова, живот стал болеть, дуться стал... А через несколько месяцев лежит это Катерина на печке, сама спит, а в животе у нее, слышит, кто-то говорит человеческим голосом, словно ребенок, и все его слышат в хате; «а мне, говорит, теперь пять лет, и зовут меня Петрушей».

«Что тут делать?.. Старуха-мать так и ударилась оземь, насилу водой отлили. Стали знахаря звать, к нашему Озеренскому — Винохвату кинулись, а тот не берется.. Я, говорит, за это дело взяться не могу, это дело особливое, ищите, говорит, того, кто знает всю метелицу. Ну, конечно, те его водочкой угостили, полотна ему принесли на портяночки, он их и научил. «Ступайте», говорит, «если такое дело, в город Брянск, там в пригородной слободе, против моста, живет еврей-выкрест. Он, один может». Делать нечего, поехали в Брянск. Запрягли лошадь, стали Катерину с печи снимать, а она не идет, кричит: «не поеду я туда, знаю, зачем вы меня везете!» А это не она противничала, а «он» в ней бунтовал. Однако, посадили ее в повозку, привязали вожжами, поехали.

«Долго мучились, наконец нашли того человека. Только в ворота стали въезжать к нему, а он сам во двор вышел. «Знаю», кричит, «зачем приехали, хорошо еще, что не опоздали, а то бы ей скоро конец был». Так они сударики мои, все и узнали про Морозиху, потому выкрест им все рассказал. «Это», говорит, «у вас старуха такая есть, этими делами займается. А у нее еще «их» трое, только она «этим» еще места на нашла, в кого посадить. Они покамест у нее в клубке замотаны». Это сказывал он — души младенцев некрещеных, что матери во сне заспали.

«Так-то, ребятки, в море есть много разной рыбы, а на зёмле много разных людей», со вздохом заключила свой рассказ Авдотья Ивановна и поднялась со скамейки: «а нам с вами, между прочим, и ужинать пора собирать».

ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ

В нашем Щигровском уезде Курской губернии, во время моего детства и юности, существовал институт, так называемых «сроковых девок». Состоял он в том, что деревенские девицы нанимались в определенные помещичьи имения на полевые работы на определенный «срок», от Весеннего Николы до Покрова, почему и носили название «сроковых». В усадьбе моего отца работало около сотни девок из села Крутого, находившегося в верстах двадцати от нас, причем это продолжалось из года в год и из поколения в поколение, так что были в Крутом старухи, работавшие у моих дедов и прадедов. Свой летний заработок девицы не отдавали родителям, а шел он исключительно им на приданое.

В усадьбе у нас эти деревенские красавицы помещались в больших амбарах при мельнице, пустовавших летом, и выстроенных из чистых обтесанных бревен, под железной крышей и с деревянными полами. Амбары эти делились бревенчатыми, не доходящими до потолка, перегородками на отдельные комнаты, в каждой из которых помещалось по десятку девушек.

Так как амбаров было несколько и девицы их всех не занимали, то в случае большого съезда гостей, в них отправляли на ночевку гостей помоложе, которым не хватало помещения в доме, для чего в «амбарах» стояло несколько кроватей,

столы и стулья. Мы с братом и наш репетитор и гувернер Яша Стечкин, студент Московского Университета, предпочитали эти амбары «большому дому», так как жизнь в них представляла нам гораздо больше свободы, а двери и окна его выходили прямо в гущу старого сада, который находился вдалеке от официального парка и от содержавшихся в большом порядке в нем, посыпанных песком дорожек и аллей, а потому был несколько в забросе и чрезвычайно поэтичен по этой причине. Хорошо и беззаботно спалось нам в «амбарах» в теплые летние ночи, когда в открытую дверь, с бархатного черного неба, прямо в душу, смотрели яркие звезды, а из темной стены сада неслись голоса его ночной жизни. Еще лучше здесь было по утрам, когда, просыпаясь, я смотрел на утреннюю жизнь сада. В нем огромном и тенистом, под зелеными липами, испещренными солнечными бликами, среди густой зелени, райскими голосами свистали иволги, под деревьями на ярких травяных лужайках бегали скворцы, а в густых листьях, осыпанных росой огромных деревьев, медовыми голосами ворковали горлицы.

Девичья республика, бывшая с нами по соседству, жила своей собственной отдельной от нас жизнью. Целый день девицы отсутствовали на работах и возвращались с полей только с заходом солнца, купались с визгом, хохотом и криками в пруде, после чего у их дверей начинала неизменно пиликать одна или две гармоники. К этому времени к нам сходились усадебные кавалеры из холостой служащей молодежи и рабочих и начинались песни. Почему то, по обычаю наших мест, пели всегда одни девицы, неизменно прибавляя к каждому куплету старинных песен припев «Ой-лю-ли»...

Нравы в этой девичьей республике были далеки от пуританизма, и редко кто из молодых и холостых служащих усадьбы не имел временной подруги из крутовских красавиц. Местные нравы строго относились лишь к поведению замужних женщин, девицы же считались элементом вольным и отчетом ни перед кем не обязанным, конечно, если они пользовались своей молодостью степенно и без доказательств.

Наиболее ловкие и приличные на вид крутовские девы шли по старому обычаю в горничные по господским усадьбам, для чего в нашем уездном городке — Щиграх, существовало нечто вроде школы на этот предмет. Учредила его задолго до моего рождения одна скучавшая без дела помещица, моя дальняя родственница Варвара Львовна Шишкина, жившая в этом городишке с незапамятных времен, в большом доме, закрытом от всего мира огромным садом, окруженным высоким забором. При ее доме, всегда изобиловавшем женской прислугой, состояло до двух десятков горничных и девчонок всех возрастов и калибров. Девицы эти брались не с ветру и не с улицы, а, строго придерживаясь традиций, из семейств прежних горничных, опять таки родом, из все того же села Крутого.

Получив соответствующее воспитание у «старой барыни», как все в Щиграх именовали Шишкину, и войдя в «возраст», т. е. достигнув совершеннолетия, они определялись затем его в горничные в помещичьи дома, но опять-таки в родственные или дружественные Шишкиной семьи, что было нетрудно, так как у Шишкиной родней было чуть не все дворянство уезда. Такой многолетний подбор создавал преемственную связь между господами и их, так сказать, потомственной прислугой, сжившимися друг с другом с малых ногтей и знавшими все обычаи, предания и традиции дома. Шишкина была доброй старухой, прекрасно содержала, хорошо одевала и относилась к своему бабьему персоналу, и извлекала из своего оригинального учреждения единственную пользу в том, что, несмотря на «эмансипацию», как она называла освобождение крестьян, она продолжала жить, как и при крепостном праве «среди своих», почти не соприкасаясь с изменившимся порядком вещей. Надо сказать, что горничные, воспитанные в ее доме, отличались прекрасным поведением, чистотой и аккуратностью и были знатоками своего дела. Одетые в белые передники и наколки, они из дома Шишкиной выходили настоящими барышнями, не имевшими ничего об-

щего с босыми и неуклюжими землячками из Крутого, жившими в наших амбарах.

Наш репетитор Яша, молодой человек лет двадцати, был юношей непоколебимых принципов и правил, которых раз поставив себе за идеал он уже никогда не нарушал. С крутовскими красавицами — нашими соседками по амбарам, он был очень приветлив, но никогда к ним не ходил и нас с братом к ним не пускал. Своим честным и хорошим отношением к людям и к жизни он приобрел в нас с братом фанатических поклонников и последователей. Медленно, но упорно он внедрял в нас, типичных барчуков по рождению и вкусам, принципы искреннего демократизма и справедливости. От него я впервые узнал, что все люди равны, что богатство и знатность не всегда находятся в руках людей достойных, что в жизни много неправды, основанной не на праве, а на насилии и захвате. Все это, конечно, были истины простые и широко известные, но я то, деревенский барчук, слышал о них впервые.

Только много лет спустя я понял, что за то немногое, что есть у меня в натуре и характере хорошего, я исключительно был обязан этому человеку. Незабываемый мой друг и учитель Яков Сергеевич был одним из тех немногих прекрасных людей, которые в свое время бескорыстно и бесстрашно боролись за идеалы правды и справедливости, ожидая их осуществления от грядущей революции, и не подозревая того, что за ней на самом деле скрывалась лишь кровавая грязь и безмерная человеческая подлость. До революции он к счастью не дожил и ему не пришлось жестоко разочароваться в своих идеалах. Молодым врачем он был убит во время войны где-то на австрийском фронте, спасая из под огня раненого солдата.

ПОЖАР В ДЕРЕВНЕ

На другой день после престольного праздника в нашем селе Покровском вспыхнул сильный пожар. Огонь несомненно заронила где-нибудь в солому или сено пьяная рука непроспавшегося после гулянки парня. Почти всегда деревенские пожары в наших местах случались именно в такие дни, когда с похмелья мужики тыкали непотухшие спички или цыгарки куда попало. Горели поэтому окрестные деревни по несколько раз в год, да и не могли не гореть там где скученно лепились одна к другой деревянные избы, крытые сухой соломой, где среди деревянных же плетней и сараев круглый год стояли соломенные и сенные стоги, где столько легко воспламеняющегося и горючего материала было сосредоточено на небольшой площади.

На случай пожара, страшного бедствия русской деревни, земство и крестьянское самоуправление при каждой волости содержали пожарные трубы и бочки, которые, как на зло, в момент катастрофы всегда оказывались, по крестьянской нерадивости, к общественным делам, испорченными и рассохшимися. У нас в усадьбе на этот случай также в каретном сарае стояли всегда наготове две пожарные машины, легко переносимые на телегу. Чтобы они не портились от бездействия, летом ими в жаркие дни поливали цветники и заросли сирени вокруг дома, где у нас водились сотнями знаменитые на всю Россию курские соловьи-солисты. Во время де-

ревенских пожаров эти машины, или как их называли мужики «трубы», выезжали всегда на помощь.

Неписанные традиции старой усадьбы требовали, чтобы на пожар выезжали и скакали конными и на телегах все наличные силы, так сказать, способные «носить оружие», во главе, конечно, с «барчуками», не упускавшими подобного героического случая.

На этот раз событие началось с того, что со стороны села вдруг поплыли протяжные и тревожные звуки колокольного набата. При первых его звуках ребятишки и парни помоложе загремели ногами по железным крышам усадебных служб, вглядываясь через вершины деревьев, чтобы определить направление пожара.

Искать место катастрофы долго не пришлось, над густой зеленью парка стоял бледно-красный при дневном свете огненный язык, тихим и прямым столбом поднимавшийся, чуть колеблясь над Заречьем.

Через пять минут пожарный обоз со звоном и грохотом копыт и колес, с криками и ругательствами, вынесся из ворот усадьбы в облаке пыли и скрылся за поворотом. Запряженные в легкую телегу на железном ходу, лошади, чувствуя человеческую тревогу, метались, как угорелые, и даже коренник, нахлыстываемый со всех сторон, шел вскачь, наравне с пристяжными. Сзади оглушительно тарахтели по сухой дороге три бочки и телеги с баграми и кучей народа, уцепившегося за что попало. Человек десять верховых неслись прямо по полю, гремя ведрами, размахивая вилами и топорами.

Когда с грохотом и звоном на хрипящих взмыленных лошадях наш обоз влетел, наконец, в горящую улицу деревни, пожар был в разгаре. В боковом переулке села, с тесно сбитыми друг к другу избами и дворами под сплошным соломенным морем сараев и амбаров, пылал один огромный костер, к которому было страшно подступиться близко.

Кругом его также был только один горючий материал: солома, хворост и сухое дерево. Никаких промежутков, ни са-

дов, ни дворов, ни полян. Один громадный костер, составленный из десятков мелких, чтобы, как в насмешку, никому нельзя было увернуться и избежать общей участи.

Жалко было видеть, как на борьбу с бедствием спешили верхами с полей на своих клячах мужики, видевшие издали, как огонь пожирал и обращал в прах все их труды, все запасы нескольких поколений. На широкую, зеленую улицу перед пожарищем сыпались вокруг искры и целые шапки горящей соломы, несомой по ветру. Сползали целые пласты соломенных крыш, и захваченные пламенем телеги и сани под навесами горели, как дрова...

«Воды... Воды, подлецы, сукины дети!..» Заревел еще на ходу брат черной толпе народа, окружавшей пожарище, «бочки везите!.. ведра сюда, мать вашу так и так. Не видите что-ли... не отстоите, все село сгорит к чертовой матери!..»

Толпа, ошеломленная несчастьем, сразу очнулась от неистового мата «старшего барчука», которого хорошо знала вся округа, как большого любителя и специалиста по тушениям пожаров, и послушно шарахнулась во все стороны, исполняя приказание.

Спасать три горевшие избы было все равно уже поздно, надо было не допустить огня к соседним дворам, крыши которых уже дымились от искр и от близости пламени. Их то и стали мы окатывать водой из привезенных машин. Кучки мужиков и парней, столпившихся у рукояток «труб», беспрерывно сменялись, качая воду, как бешеные. Народ, стоявший на соседних крышах с ведрами и мокрыми веретьями, захлебнувшись под сильными струями рукавов, весело посыпался с крыш. Брат и я с толпой мужиков и рабочих не покладая рук бросались то туда, то сюда с бочками и трубами, поливая водой и растаскивая баграми дымившиеся бревна и целые плетни. Несколько раз приходилось всем бросать работу и отскакивать назад, опасаясь от падения горящих балок и стропил.

В теплых клубах раскаленного дыма над деревней, вместе со снопами огненных искр, в просветах неба, кружились

обезумевшие голуби. С глухим шумом и треском проваливались одна за другой крыши горевших изб, и под потоками воды из черных обгоревших стен через зияющие окна хлынул белый густой дым затихающего пожарища.

Потный и закопченный, я оставил своих спутников растаскивать обгоревшие остатки погибших хат и устало выбрался из толпы, чтобы вздохнуть чистым воздухом на деревенском выгоне. Здесь было тихо и безлюдно, горевшее село точно вымерло. Сюда на площадь мужики в беспорядке стащили все добро из сгоревших дворов: бочки, кадки, деревянные кровати, плетушки с наседками. Около кучи вещей и тряпья была привязана на цепи белая, лохматая собака. В решете, стоявшем на треногом столе, сладко спал свернувшись клубком серый котенок. Время от времени, из переулка к реке, с отчаянным шумом и треском вылетали мокрые бочки, брызгавшие водой во все стороны, несшиеся не разбирая дороги, через разбросанную рухлядь, опрокидывая кадки и лавки, и мчались к месту пожара. Над деревней, среди затихшего гула пожара, теперь яснее были слышны крики мужицких голосов и причитание высоких бабьих речитативов, выших у догоравших дворов.

Пожар окончился без человеческих жертв, и только один из хозяев трех сгоревших хат, спасая из пылающего дома свое добро, сильно обжег себе руки.

Усталые, черные от сажи и мокрые, мы возвращались шагом в усадьбу, вполголоса делясь впечатлениями. Дома отец и дамы долго и подробно расспрашивали о пожаре. Утром к отцу пришли двое погорелых крестьян, с которыми он долго говорил у себя в кабинете. Сам деревенский хозяин, отец, считал своим долгом не только лично помочь погорельцам, но и как предводитель дворянства, неизменно добивался для них помощи от земства.

Когда мужики уходили из усадьбы, у ворот погорельцев встретила моя кормилица Авдотья и вручила им груду серебряной и медной монеты, собранной среди населения до-

ма. Высокий, одетый, несмотря на лето, в бараний тулуп мужик, с лицом угодника древнего письма, молча снял шапку и замотанной белой марлей рукой пересыпал деньги в холщевой мешочек. Лица его и его спутника были спокойны и бесстрастны.

«Ничего не поделаешь... Божья воля!» — вздохнул ему вслед чей-то бабий голос.

ТРОИЦЫН ДЕНЬ

Из всех русских праздников на родине я больше всех любил Троицу. В этот день в нашем селе помимо торжественной службы происходило каждый год также состязание двух знаменитых басов, дьякона о. Семена и бочара Телегина, которое привлекало ежегодно съезд любителей голосов со всей округи. После церковной службы в этот день я много лет подряд проводил на пасеке Моисеича, старого друга еще детских лет и моего руководителя по перепелиной охоте.

Мальчиком и юношей я не любил ходить по проторенным путям и всегда искал новых, хотя почти всегда неудачно. Обыкновенное пчеловодство по этим причинам меня не интересовало, и я, под руководством сомнительно качавшего головой Моисеевича, принялся на устроенной в саду пасеке разводить... шмелей, уверяя всех и самого себя, что «их мед не хуже пчелиного».

В двух дюжинах миниатюрных ульев было поселено по гнезду крупных черных шмелей, что стоило мне огромного труда по розыску их и водворению на новом местожительстве. Кроме того шмели кусались, как собаки, и я все лето, пока ими занимался, ходил весь опухший.

Когда, наконец, в результате этого каторжного труда, я по капле собрал и с гордостью принес домой баночку шмели-

ного темного меда, то его никто даже не решился попробовать. Оскорбленный в своих чувствах новатора, я с отвращением съел его сам, после чего меня тошнило целую неделю.

Ввиду предстоящего визита на пасеку Моисеича на Троицын день, я ехал в церковь не в коляске с семьей, а одиночным порядком — верхом. В этот веселый праздник наша сельская церковь в Покровском превращалась в целую березовую рощу.

Свежая, душистая трава под ногами, молодые березки у окон и дверей, под иконами и над иконами. В храме нет того спертого воздуха, запаха тулупов, сапог и восковых свечей, которыми он бывал полон в другие праздники.

Окна отворены, и утренний ветерок колышет зеленые косы березок и красные огоньки свечей. Вместо овчинных тулупов, пестрые поневы и яркие хрустящие новым ситцем бабьи кофты и рубашки на парнях. Народ точно весь горит яркими красками, как маковое поле. Образа тоже убраны цветами.

Троица настоящий праздник весны, тепла, цветов и зелени. На правом клиросе хор сельской школы, на левом — дьячки. Бочар Телегин давно на своем посту и его здоровенная, вся в рябинах, сомовья морда солидно выглядывает из-за детских лиц певчих. Дьячки, чтобы не сконфузиться перед приехавшими помещиками, подкрепили себя двумя семинаристами, приехавшими из Курска к празднику.

Одна из соседок-помещиц, одетая в какие-то воздушные покрывала и окруженная, как оперная Норма своими весталками, тремя дочерьми в таких же нарядах, стоит впереди.

Деревенские девчата, восторженно перешептываясь, сзади, незаметно для барышень, осторожно пробуют двумя пальцами достоинство барских кашемиров и кисеи. Другая помещица, находившаяся в ссоре с первой, войдя в церковь, со снисходительным величием, оглядывает неприятельскую

группу и, с улыбкой кроткого сожаления, сейчас же переносит свой взгляд на икону Богоматери, как бы прося Ее помиловать грешных.

Дьякон, огромного роста ражий детина, хозяйски похаживает по амвону, переговариваясь с обоими клиросами, предвкушая удовольствие поразить паству своим голосом. Его, как говорят на селе, уже третий год «владыка» хочет взять в Курск протодиаконом, но почему то до сих пор не выполняет этого желания. Чтение Евангелия и многолетие, как известно, является для любителей низких голосов на Руси самым торжественным моментом службы, и на этом обыкновенно зиждется источник славы дьяконов.

Первым по ходу службы начинает состязание бочар, который выходит с Апостолом на руках на середину церкви, спокойно и методично, как подобает непоколебимо установленному авторитету. Он начинает чтение низкой, могучей октавой, которая, как струя какого-то тяжкого металла, льется из его груди. Этот зычный гул, по-видимому, не стоит ему больших усилий, только толстые губы открываются и закрываются на плоском лице, да слегка надуваются жилы на его воловьей шее. Последнюю ноту бочар пускает так глубоко и низко, что кажется она проникает под землю.

Лысый староста Савелий — страстный любитель пения, стоявший позади помещиков, весь расцветает от удовольствия и, не утерпев, произносит вполголоса, обращаясь к кому-то: «важно спустил». Когда затем выносят перед царские врата аналой, и дьякон выходит, неся Евангелие, он заметно волнуется. Высоко подняв над головой тяжелую, кованную книгу, он бархатным басом, но совершенно другого и более высокого тона нежели у бочара, протяжно и красиво выводит на всю церковь: «От Матфея Святого Евангелия чтение-е-е-е! ..»

Неспешно и торжественно, будто по ступеням, он затем начинает отрубать громовым голосом слово Св. Писания, все более возвышая и растягивая голос и, наконец, заканчивает

чтение такой высокой и протяжной нотой, что староста, во время пения точно замерзший на месте, вздрагивает, отряхивается и вытирает текущие у него по лицу от умиления слезы. Шопот удивления и удовольствия пробегает по толпе, все понимают, что дьякон в этом году вышел победителем.

Пожав руки знакомым и приложившись к дамским ручкам, я, по окончании службы, сажусь на коня у церковной ограды и выезжаю из села. Сейчас же за ракитами кладбища начиналось поле. Распаханная степь лежала широко и безлюдно. Стены ржи на ней прерывались клиньями цветущей гречихи, белой и густой, как сметана, над ней стоял сладкий медовый жар, в котором сотнями тысяч гудели пчелы. С высоты седла видны были кое-где в этом молочном пару небольшие ложки с дубовыми кустами. Только верст через пять прекратилось, наконец, поле, и меня обступила раскинувшаяся кругом настоящая зеленая степь с высокой травой, далекими курганами в дымке марева и коршунами, плававшими в неподвижном воздухе.

Эта степь на меня производила всегда необыкновенное и незабываемое впечатление. Я любил ехать по ней узкой, заросшей травой, дорогой, вдали от всего живого. Обаяние беспредельной родной равнины, с ее наружным однообразием, со всей простотой ее обстановки, с ее несокрушимой мощью, со всеми ее горестями и радостями овладевали мною неудержимо до слез...

Чувство родины, чувство России охватывало и пронизывало насквозь душу. Нигде потом на чужбине, никакая красота природы не вызывала больше во мне ничего подобного. В безлюдьи степи, в шуме ветра, в бледной синеве неба, как бы стояла перед моими глазами вся Русь.

Потомок длинного ряда людей, прочно сидевших на этой земле веками, я понимал вокруг себя каждую подробность, каждый оттенок жизни. Знал откуда и зачем все это, что там за этой синей далью, что здесь в этой пустой для чужого, но полной жизни для меня степи.

Лошаденка встречного мужика, лохматая и пузатая «мышь», имела знакомую и понятную «физиономию». Ее веревочная сбруя, ее соломенное брюхо, все было своим родным и привычным. Родной казалась и телега с окаменевшей грязью на спицах, родным и знакомым был и сидевший на ней русый мужичек в одной рубашке. Для него я тоже был свой и привычный, как для его отцов были «спокон веков» своими мои деды и прадеды.

Для мысли деревенского «барчука» не оставалось в окружавшей среде ничего неуясненного и недосказанного. Тепло и нежно отражался в душе, невеселый для других, родной для меня пейзаж. Он жил и укоренился в ней давно, прежде чем детская мысль стала понимать и разбираться в том, что было кругом.

Глухая, степная равнина, наконец, прервалась глубоким травянистым оврагом, совершенно скрытым от глаз издали, и, до краев, заросшим дубовым лесом. В глубине его виднелась зеленевшая мохом крыша куреня Моисеича.

Голубой дымок дрожащим стеблем слегка тянулся из трубы и таял в воздухе. Тесная лесная тропинка спускалась к пасеке. Среди дубовых кустов и деревьев яркие лесные цветы пестрили сочную траву, под кустами качались голубые колокольчики. Новый плетень окружал пасеку, на калитке его был нарисован охрой раскольничий семиконечный крест.

Среди ровной зеленой лужайки, полной тени и солнечных бликов, тесно стояли дубы и лесные груши. Около сотни ульев, с черневшими от пчел «летками», стояли врассыпную, покачнувшись в разные стороны. В самой середине пасеки, под корнем старого дуба, чернела холодная дыра родника. Запах меда и воска стоял в теплом воздухе, как что-то осязаемое. Воздух был наполнен несмолкаемым жужжанием пчел.

Стоявшего у куреня Моисеича, одетого по случаю праздника в белые холстяные порты и такую же рубаху без пояса, с седой бородой и шапкой таких же волос — можно было принять за жреца Перуна или колдуна из оперы.

«Здравствуй, барчук!» приветливо встретил он меня, — «с праздничком тебя. Нонче, благодаря Бога, не оставил нас грешных... и люди с медком будут и Господь со свечкой — воску и меда вдоволь. Велико-ли дело Троица на поре»!..

Я слез с коня, привязал его к груше и сел в тени. Старик вынес мне из куреня на огромном свежем лопухе только что вырезанный тяжелый сот, залитый желтым душистым медом.

«Ишь сот то какой?» похвалил он свой мед, — «чистота-то какая — слеза Божия... Да тебе может к нему огурчиков нарезать?»

«Неси, дед, огурчиков... а хлеба у тебя не найдется?»

«Вот на, али я татарин некрещеный, что без хлеба жить буду», обиделся старик, «без хлебушка никакая тварь не живет, не токмо человек».

Через несколько минут он вернулся с чашкой огурцов и куском свежего хлеба, за который я принялся. Старик тоже разрезал огурец, посолил и, перекрестившись три раза на темную икону, висевшую на старой груше, стал медленно жевать.

«Что это за икона у тебя Моисеич?» спросил я, желая вызвать его на разговор о старине, о которой любил его слушать.

«Пчелиных пастырей икона... преподобных угодников Зосимы и Савватия» — с внушительной важностью отвечал старик. «Без этой иконы пасеку хоть не заводи. Флор и Лавр, те лошадей пастыри, Власий преподобный — скоту, а Зосима и Савватий — пчеле... потому они из заморской земли в нашу сторону пчелу вывезли. У нас, видишь, наперво, пчелы совсем не было, и какой такой мед есть на свете, народ наш допреж того не знал. Ну, а Господь повелел угодникам своим Зосиме и Савватию из бусурманской земли в нашу рассейскую ее вывести. И шли они по звездам денно и нощно, и тех стран люди все дивились, что идут старцы, а за ними пчела гулом идет, ровно за маткой... А Божьи угодники по

чего додумались-то: сотворили себе посохи, а в них гнезда долбленные, а в гнезде матки были сокрыты — царицы пчелиные. Так-то, а ты как думаешь? Покойный дед был у меня, тот эти порядки все знал не по нынешнему. Бывало на всех ульях Зосиму и Савватия мелом писал, с того и рои в старину роились не по нашему!»...

Попав на свою любимую тему о старине, Моисеич без моего понукания стал вспоминать прежнюю жизнь и пенять на современную, которую очень не одобрял, в особенности после того, как его сын, побывавший на шахтах в Таганроге, явился домой скандальным, спившимся мужиченком. Он отравлял пьянством и безобразиями все существование старика, который из-за этого бросил дом и поселился на пасеке.

«Вот, нынче, слава Богу», — продолжал он, после небольшого молчания, — «а то предыдущие годы совсем меду не было. Леса порубили, степь распахали, откуда пчелке брать?.. Прежде весна придет — ковер писаный, а ноне пахота, да бурьян... Греча-то, поди, когда зацветет, дожидайся ее. Обездолили совсем народушко... ни меду, ни воска, ни гриба, ни ягод теперь не стало. А в лесу бывало: бабе — шуба, детям — орехи, мужику — сруб, а нынче лыка и того содрать негде.. оглоблю срезать. Господа поплошали, а купец, он все леса и рощи порешил. Все купи, а на что купишь? Нет, тесно стало нашему брату, барчук, не приведи Бог. Ведь и рек не стало, посохли без лесу, зверь перевелся, птица дикая перевелась. Вот хоть-бы на нашей Кшени, помоложе я был, порядки другие стояли — лесов не трогали, и Бог ты мой, сколько всякой рыбы водилось... Щуки бывало, как борова полощутся, фунтов по двадцать, а линей так руками ловили. И вода вровень с берегами стояла, не то нынче. Вечером пройдешь по плесу с бреднем — ушат и полон. Круглые Петровки народ рыбу ел. А зверья сколько было!.. Дед, покойник рассказывал, что по Рати сплошной лес стоял, туда и люди ходить боялись. Выйдешь, говорит, на зорьке, послушаешь на ту сторону, аж жутко делается

от рыку и воя звериного. На волков уж и не охотились, ростили можно сказать, как домашнюю скотину. Разыщут мальчишки волчье гнездо, подрежут волчатам поджилки на ногах, да и дожидаются когда шкура хорошая станет. По Кшени и Тускари дед говорил дикие лошади водились, маленькие головчатые и цвета, как мыши... И как мужику худо стало, что и говорить неохота. Беднота, теснота, строгости кругом пошли, запрет. В старину выехал в степь, коси куда глянешь, паши, где понравится. Один-то напашешь аж жуть берет: души нет живой кругом. Земли то тогда сытые были, хлеб поднимается — сила, копну на воз не уложишь, хлеба вишь в поле зимовали тогда, весной свозили... И снега были глубокие, а теперь что? В Богатом Верху груши по лесу стояли, обхвата в три; обсыпет их к осени, листа не видно. Бывало взлезешь на макушку, тряхнешь, так сразу осмины три насыпешь, да все желтая, ядреная... Теперь и не знаешь какая такая груша на свете есть, ежели к вам в экономию не сходишь. Видно к света окончанию, барчук, дело пошло. Как в книгах сказано-то? Жить должно быть прописано, когда, чему быть?»

— «В книгах, Моисеич, конца не видно, а жить становится трудновато, это верно, да еще смотри, как бы хуже не стало».

«Должно, что так... Божье хотенье», вздохнул старик. В это время издали донесся стук колес, скрип телеги и пьяный голос, что-то кричавший. Старик, виновато взглянул на меня, поднялся. Я понял, что к нему едет из села сын «праздновать Троицу», т. е. пьянствовать на пасеке, чего Моисеич очень не любил. Не желая видеть пьяницу и смущать старика, которого мне было жалко, я стал прощаться, он понял и не удерживал.

«Ну, будь здоров, барчук!.. Спасибо за подарочек и что старика не забываешь».

Я пожал заскорузлую негнувшуюся руку Моисеича и сел на коня. Выезжая из оврага, оглянулся назад. Старик про-

должал стоять молча у калитки, задумчиво и грустно опустив седую голову и тяжело опираясь обеими руками на пастуший посох. Больше мне с ним встретиться не пришлось — это была моя последняя Троица на родине.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Кто считает Пасху самым большим праздником русской деревни, тот глубоко ошибается. Главным праздником в году у крестьян был всегда храмовой праздник, в котором каждый мужик видел торжественный день своего деревенского покровителя.

В нашей Курской губернии народ особенно любил осенние и зимние «престолы», так как Троица, Вознесение, Петров День и Спас были в деревнях днями «постными», уж не говоря о том, что крестьянские руки были заняты полевыми работами, не было ни свежины, ни птицы, продать было нечего, а потому не было и денег на гулянку. Зато с Покрова один за другим начинались «настоящие престолы», как Казанская, Скорбящая, Димитриев и Михайловы дни, и так вплоть до «Зимнего Николы», русского престольного дня по преимуществу.

Все полевые работы к этому времени прекращались, свиней, подобравших последний колос на жнивьях, били на сало и свежину; били и лишнего барана, чтобы не кормить зимой; продавали на покровских ярмарках всякую лишнюю скотину, требовавшую себе зимнего ухода и содержания. Гуси и утки, ожиревшие на даровом зерне, резались и продавались огулом. Хлеб был обмолочен, конопля продана, закрома полны, и деньги начинали шевелиться в мужицкой мошне.

Натерший себе спину пятимесячной работой от зари до зари, мужик к осени стремился отдохнуть и побаловать себя плодами своих трудов. Оттого то никогда не бывало на Руси таких длинных, веселых и пьяных праздников, которые начинались по деревням с Покрова.

Уже за неделю поэтому до престольного праздника в нашем селе чувствовалось праздничное настроение. Никто не нанимался ни на какие работы, все стремились в эти дни вернуться к своим домам и хозяйствам. Кто только мог — расчитывался с хозяином, кто не мог требовал отпуска, чтобы чувствовать себя свободным. К празднику в село собирались такие люди, о существовании которых многие уже стали забывать, но которые имели на деревне какую-нибудь связь с настоящим или прошлым. Приходили мастеровые из Курска и Орла в новых картузах и с новыми гармониками, шахтеры из Таганрога, сходились со всех сторон отсутствовавшие мужчины, женщины, девки и мальчишки.

Некоторые появлялись к празднику из Ростова и Екатеринодара, сделав несколько сот верст пути. Приходил из Крыма старый пьяница Касьян с перебитой спиной и застарелым запахом сивушной гари. Приходил знаменитый гармонист, силач и пьяница Николай — столяр, притащивший неизвестно зачем к сестре, жену и дочь, сняв их с места у какой-то генеральши. Приплелся из Харькова даже Андрюшка Дардыка, у которого на селе осталась родни только невестка покойной жены.

Праздник открывался уже накануне «престола». Съезжались из Щепотьевки, Ольховатогошни, Липовского и Красной Поляны, отовсюду, где только были кумовья, сваты и родня. Иметь кума на селе, где шумел престольный праздник было большое удовольствие и гордость для мужика. Праздник «ехал» не просто, всякий гость старался обрядить себя, сани и лошадей, как только можно лучше. Только самый бедный ехал в розвальнях, мало-мальски зажиточный хозяин имел на этот торжественный случай особые сани, с

решетчатой спинкой и скамьей, которые именовались почему-то «диванными». Их устилали коврами, лошадь покрывали попонкой, к дуге и натяжному хомуту подвязывали колокольчик и бубенцы, а когда своих не было, занимали у добрых людей.

Редкий гость ехал в одиночку, в гости мужик считал неприличным тащиться на одной лошаденке, а всегда припрягал хоть какую-нибудь пристяжку, хотя бы двухлетнего жеребенка, чтобы только бежал для вида. На покрытых коврами санях, самодовольно восседали праздничные фигуры баб и мужиков в крытых тулупах, заячьих шубах, цветных платках и в свеже-смазанных сапогах. Тут уже нельзя было увидеть обычную сермягу, лапоть или корявый тулуп с дырами. Все поезжане сознавали особенность своего положения и смотрели на глазеющий на них народ, не участвовавший в празднике, со спокойной гордостью. Они чувствовали, что составляют часть торжества, и что в их образе ехал сам «престол», а не просто проезжие.

— Бабушка!.. что ж ты сидишь? — кричала запыхавшаяся девчонка — престол едет!

— О-о? ай уж тронулся? — спрашивала бабка, торопливо слезая с печки — пойтить посмотреть, что ж ты раньше не сказала!..

— Ей-Богу, бабушка, сама только что увидала... Спаские тронулись, да все парами, с колокольцами... А уж разодеты как, Матрена Шаланкова в шубе бархатной, а на голове шаль желтая... убей меня Бог!

Но настоящий праздник был еще впереди. Хотя с вечера пили и ели досыта, однако, все же удерживались, так как «до обеден — будто не закон». К обедне в тесную сельскую церковь народа набивалось невпроворот. В храме было холодно, как в погребе и, во всяком случае, холоднее, чем на дворе, это не мешало, впрочем, тому, что бабы и девки спокойно стояли себе в одних башмаках, нарочно распахнув свои шубы и кофты, чтобы все видели их цветные наряды.

Круглые широкие лица деревенских красавиц в ярких платках с безмятежно-счастливым довольством смотрели кругом себя, а двадцатиградусный никольский мороз только подрумянивал до густоты малины тугие деревенские щеки. Да и как им было не ликовать? Дома они целый год ходили бессменно в замашных рубахах и в затрапезных юбченках, а теперь все подряд красовались в плисе, розовых ситцах и ярком миткале.

Мужики тоже стояли богач на богаче, у кого не было крытой шубы — новая свитка поверх полушубка, пояса им бабы понаткали к празднику яркие с концами бахромой ниже колен. Все были причесаны и примаслены, сразу было видать, что их накануне всех парили в печке.

Поп Никита служил обедню почти трезвый. Это с ним случалось редко, и еще реже в престольный праздник. За его «питьевые» способности и за душевную «простоту» он был очень любим своими прихожанами: к непьющим попам в деревнях относятся подозрительно, как к людям «брезгующим народом». За пристрастие к рюмке архиерей два раза уже ссылал о. Никиту в наказание в монастырь «толочь воду», но всякий раз крестьянский мир и соседние помещики грудью вставали за своего «душевного» попа и добивались возвращения его обратно.

Так как о. Никита вернулся из последнего изгнания только накануне праздника, то до службы «воздержался» и счел нужным сказать народу даже проповедь, чем все остались очень довольны.

«Ныне славная обедня была» — рассказывал мне вечером, пришедший в гости старик Мелентьев. «Поп проповедь сказывал и молебен пел... ить он у нас голова, божественное учнет сказывать, хотя бы протопопу в соборе. Слова все мудреные у него понайдены, не наши... простому человеку, что грамоте не учен, и понять ничего нельзя»...

Не прошло и часу, как воротилась деревня от обедни, как вдоль широкой улицы закрутился дым коромыслом. Избы

растворены настежь, и пар столбами бил из дверей. Внутри хат не продохнуть и не протолкнуться; за столами и по лавкам красные, как свекла, лица в русых и рыжих космах. От многоголосого говора гуденье идет такое, что слышно за версту. Непривычная к хмелю голова в любой избе опьяневает от одного запаха, так как в ней даже стены пропитались сивушным букетом.

Бабы буквально сбивались с ног, таская на стол и со стола чугуны, горшки и миски, все, что в них было, поедалось почти мгновенно, и хозяин только покрикивал на баб, чтобы несли еще.

— Ох, сватушка, дорогая, — жаловалась одна соседка другой, выскочив на минутку на огород, — и куда только у них все это проваливается? Николка-кузнец, рябая морда, как крякнет, так полпоросенка и нету. Я, говорит, гость — ну известно ничего и не скажешь!..

— Где ж, гостю сказать — нельзя — с сочувствием поддерживает соседка.

Ни щей, ни похлебок на престольный праздник курская баба не готовила. Готовилось только то, что можно было взять пальцами и засунуть в рот даже пьяной рукой. Только что залили водкой последний кусок у одного хозяина, приходил сосед просить к себе, валили толпой и к нему. Часам к двум, когда проходило время обеда, готовили сани для катанья.

Тут уже не то, что в церковь ехать честно и чинно, валились на сани, как снопы, краснощекие, пьяные бабы друг на друга вповалку. Кто попадал в середину под груду тел, кто боком на грядку саней, кто зацеплялся коленом или ухватывался за первую попавшуюся шею. Крик, хохот, шутки и веселая давка.

Какой-нибудь пьяный, отчаянный парень, стоя в санях, первый вылетал бешеным галопом из ворот, отдав лошадям вожжи и неистово гикая. Навалившиеся позади него на сани мужики и бабы тоже гикали и махали на лошадей со всех

сторон. У некоторых из седоков пьяные руки скребли, как грабли, по снегу, у других пьяные головы свешивались и стучали о грядку. Лошади, испуганные криками, свертывали с главной улицы под гору на лед и неслись вскачь, разбрасывая снежные комья, вылезая из хомутов. Сани вскоре одни за другими широко раскатывались и перевертывались на первом же повороте.

Парень, правящий стоя, перевернувшись в воздухе, вылетал из саней головой в сугроб и едва выбивался из него при общем хохоте, беспомощно махая в воздухе ногами, обутыми в новые валенки. Кое-кого придавливало санями и волокло носом по льду, пока лошади не останавливались сами собой. С хохотом и ругней кое-как распутывались, ни на кого не обижаясь и ни на что не жалуясь. Рядом перевертывались другие сани, и опять крики и хохот. Пьяные головы все больше чумели на морозе, и веселье охватывало катающихся.

— Перегоняй, Нефедка!.. задевай за грядку!.. — Сани скакали мимо саней, обгоняя друг друга с неистовыми криками, при общем участии всех сидящих, стоящих и лежащих. Ловкий возница сильным ударом полоза угождал в левую грядку нагоняемых саней и разом перевертывал их на бок. При взрыве хохота и визге мальчишек он несся дальше за другими санями, а сзади его нагонял новый наездник, норовя перевернуть в свою очередь.

Народ усыпал всю широкую улицу села и смотрел, как веселый «престол» с бубенцами, колокольчиками и пьяными песнями несется по селу яркий, сытый, пьяный и веселый.

— То-то пьяны, то-то пьяны — с восторгом кричит румяная молодка своей соседке — головы, так и мотаются в санях...

— А как же — солидно отвечает ей, стоящая рядом старуха — у нас завсегда праздник настоящий... Таперича по селу семь ден трезвого не найдешь!

К вечеру на широком выгоне села собирается «улица». Девки в одних башмаках и кофтах начинают водить хороводы. В избах пусто, все, включая стариков и малых ребят, высыпали на улицу. Мужики только заходят в избы выпить и опять идут на улицу — шататься, обнявшись друг с другом.

Все село из двора во двор теперь пьяно окончательно и понемногу то там, то здесь начинают вспыхивать драки.

Лысый староста Савелий лез драться с щеголем Костей — городским портным, пришедшим на «престол» и откровенно льнувшим к молодой жене старосты. Человек шесть стариков били за что-то широкоплечего, низенького мужиченку, который вопил на все село, обижаясь особенно за то, что его били «у своего двора». В хороводе тоже местные парни «обижались» на какого-то кавалера из чужой деревни, прихватив ему вместе с шапкой и косматую шевелюру.

К ночи пьяные мужики и бабы, сломленные хмелем, падали, как кому придется, кто в сугробы околиц, кто под плетни дворов, кто прямо на голом выгоне. Поднимать их было некому, и самые строгие бабы растеряли своих мужей. В овинах и на сеновалах спали смешавшиеся пары, никем не преследовавшиеся и сами не сознававшие, где они и с кем.

К утру обнаруживались беды. Из проруби вытащили замороженного сотского, некоторых подняли в поле чуть дышавших и с отмороженными руками и ногами. Бабы разыскивали своих стариков по чужим дворам и гумнам и с воем и плачем растаскивали их за волосы по домам. Старосту Савелия нашли в овинной яме пятками вверх, с лицом налитым кровью, молодая бабенка его, когда привели под руки мужа, имела шкодливый и виноватый вид, в то время, как портной Костя деликатно выглядывал из-за чужих спин.

С кузнецом Потапом приключилось еще хуже. Вечером он поехал, пьяный, «докупить вина», и всю долгую зимнюю ночь его водил леший по болоту вокруг села. Два раза он

подъезжал к собственному дому, но оба раза повертывал назад, не узнавая хаты. К свету он в третий раз приехал в село и, увидев на пороге избы соседку, спросил ее:

— Ты взаправду, Арина, али бес Ариной скидывается?

— Точно батюшка, Арина, заходи к нам согреться...

— Нет, не обманешь, я знаю — ты бес. Арина возля меня живет, а ты меня средь поля морочишь!

Только с помощью его собственной жены бабам удалось уговорить сбитого с толка Потапа войти в хату, где оказалось, что он отморозил себе нос.

Так проходил у нас в селе престольный праздник «Зимнего Николы» из года в год и из поколения в поколение.

ЯРМАРКА В КОРЕННОЙ ПУСТЫНИ

Посвящается Его Преосвященству Высокочтимому Владыке Серафиму

Коренная пустынь, тесно связанная с историей Курского края, была расположена в 28 верстах от города Курска, по дороге на Орел. Ее древний монастырь, постройка которого относится ко времени царствования царя Федора Ивановича, стоял на высоком берегу реки Тускари, покрытом живописными рощами, и тонул в зелени, представляя собой чарующее впечатление.

В самом центре пустыни, на горе, стоял старинный храм, окруженный садом с высокой каменной оградой и решеткой. На большом лугу, перед монастырями, каждое лето в течение веков имела место знаменитая в истории наших мест «Коренная ярмарка», во время которой в старое время весь луг бывал застроен палатками, шатрами, домиками из досок и мазанками из хвороста и глины, на подобие малорусских хат.

Это были «ставки» приезжавших на ярмарку из года в год на богомолье помещичьих семей, устроенные крепостными плотниками и столярами из привезенного с собой из имений материала. У многих господ здесь были свои постоянные дачи, снаружи украшенные резьбой по дереву, а внутри богато обставленные мягкой мебелью и устланные персидскими коврами. Некоторые из помещиков даже со-

оружали себе на реке купальни на лето. Дворянские семьи, с чадами, домочадцами и прислугой, приезжали «на Коренную» целыми поездами и жили в этих помещениях в течение всей ярмарки, недели по две-три.

С ярмарочного поля открывался превосходный вид на реку, горы, рощи и на окрестные богатые села и деревни. Коренная ярмарка в старые годы была, главным образом, конской, так как на нее съезжались обычно помещики Курской и Орловской губерний, пригонявшие из своих вотчин конские табуны, а купцы привозили на нее товары, и на ярмарке, главным образом, происходил меновой торг.

В шестидесятых годах прошлого века этот обычай постепенно исчез, и меновой торг уступил место обыкновенной купле и продаже, да и коней на ярмарку стали приводить не только дворяне, но и купцы и барышники.

Часть ярмарки, в начале и середине прошлого века, отводилась, по обычаю, для так называемых «панских рядов», для чего в те времена существовали на ярмарочном поле свыше трехсот деревянных лавок, не считая будок. Здесь же в особом ряду шла покупка и продажа знаменитых на всю Россию своим пением курских соловьев, помещавшихся в закрытых и затемненных от света клетках.

«Панские ряды» были специально приспособлены ко вкусам и нуждам дворян-помещиков, которые здесь были главными покупателями. В рядах всегда стоял ароматный запах от сена и душистых степных трав, которыми купцы усыпали «для духа» полы своих лавок. Товары в них были дорогие, но зато отличного качества, так как купцы очень дорожили покупателями, ибо эти последние брали товар большими партиями сразу и с собой не уносили, а лишь указывали, куда именно и в чью дворянскую ставку нужно было его доставить. Там уже он рассматривался целым синклитом, и, при таких условиях, подсунуть покупателю плохой или гнилой товар было рискованно.

Конский торг происходил на обширном лугу, на котором за высоким веревочным забором стояли сотни всевозмож-

ных лошадей, начиная с верховых и кончая толстыми воронежскими битюгами для перевозки тяжестей. Ремонтеры различных полков, дворяне верхом и в экипажах, купцы в синих чуйках, хохлы в коричневых свитках и соломенных «брилях», татары, цыгане, персы и армяне представляли собой разношерстное и живописное зрелище. Ржание коней, шум и гам толпы стояли сплошным гулом над ярмарочным полем. Покупатели рассматривали коней, которых перед ними проводили продавцы, осматривали у лошадей зубы, ноги, копыта, выгибали шею, заставляли бежать то рысью, то вскачь. Часто здесь же на ярмарке устраивались бега верхом и на двуколках.

Икона Коренной Божьей Матери, переносимая каждый год накануне Ее праздника 8-го июля крестным ходом из Курска в Пустынь, помещалась затем в широкой каменной галерее, спускавшейся с горы. Сто тридцать ступеней ее вели в каменную церковь, находившуюся у самого живописного источника. Икона стояла над этим колодцем, на суку того старого корня, на котором была обретена несколько веков тому назад, и откуда она и получила свое имя. Перед иконой находился облицованный цинком колодезь, дно которого было подъемное. Это было сделано для того, чтобы собирать в конце каждого дня золотые, серебряные и медные деньги, которые, по обычаю, бросали в колодезь паломники в пользу Пустыни. Вдоль галереи, на стенах помещались картины в красках, большой художественной ценности, изображавшие историю самой иконы, начиная с момента, когда ее разрубил саблей татарин, как она потом чудесно срослась опять в руках нашедшего ее крестьянина, и кончая торжественной переноской ее в Курск, откуда она, по преданию, уходила несколько раз обратно в Пустынь чудесным образом, пока не был установлен обычай ежегодного переноса ее в Пустынь в день почитания иконы.

В день открытия ярмарки, в Пустыни присутствовало приезжавшее из Курска и Белгорода все духовное и граж-

данское начальство, которое вместе с иконой шло торжественным крестным ходом из Курска в Пустынь, в сопровождении огромных толп народа. Наш знаменитый художник Илья Ефимович Репин именно с этого торжества написал свою известную картину «Крестный ход в Курской губернии», с необыкновенной выразительностью передав на полотне толпу верующего народа, в религиозном экстазе следующего за своей родной святыней. Картина эта — вся в движении, полном яркого драматизма.

Ночью на самой ярмарке в окружающих ее рощах начинался знаменитый в истории наших мест соловьиный концерт, когда с вечера и до самой зари, на свободе и в клетках заливались сотни соловьев, слушать которых и для покупки их съезжались со всей России знатоки и любители.

Сначала мальчиком, а затем юношей, я любил рано утром ходить на окруженный со всех сторон лесом монастырский пруд, где особо для этого назначенный монах звонил в определенный час в колокольчик, на звук которого к берегу, где он стоял, собирались тысячи карасей и карпов, и инок кормил их хлебными корками, остававшимися в изобилии от трапез монахов и паломников в монастырской столовой.

Ныне чудотворная Икона Коренной Божьей Матери, вывезенная во время занятия Курска белыми армиями, Архиепископом Курским и Обоянским Феофаном, находится в Соединенных Штатах, где, благодаря щедрой жертве князя и княгини Белосельских-Белозерских, явилась возможность создать в Магопаке вторую «Коренную Пустынь», во главе которой ныне стоит высокочтимый Владыка Серафим, ее устроитель и настоятель — мой дорогой земляк. Он, с Божьей помощью, восстановил старые традиции Пустыни и выпустил недавно в свет подробную историю этой чудотворной иконы. Ему я и посвящаю настоящую статью.

СТАРЫЙ ВОРОНЕЖ

Над широкой зеленой поймой реки, высоко на холмах, окруженный степными просторами, живописно раскинулся старинный русский город Воронеж, в котором мне выпала счастливая доля провести учебные годы.

История этого чисто русского города весьма стара, так как о нем впервые упоминает еще «Начальная Летопись» 1177 г., по поводу требования Владимирского князя Всеволода о выдаче ему «головой» бежавшего в Воронеж Ярополка, которого рязанцы «взяли и привели во Владимир». Вторично в русской истории о Воронеже упоминается в «Троицкой Летописи» под 1237 г., по случаю вторжения хана Батыя в Рязанское княжество.

В 15-ом веке Воронеж, расположенный тогда среди дремучего леса и населенный «бортниками», т. е. пчеловодами, по договорным грамотам великого князя Иоанна 3-го, отошел под власть московских князей и не раз подвергался затем татарским разорениям, как стоявший на границе «Дикого Поля».

В 1586 году воеводе Сабурову с товарищами Иваном Сурковым и Василием Биркиным было приказано превратить посад Воронеж в настоящий город, что они и выполнили, но, через четыре года после его постройки, в 1590 году, он был разграблен и сожжен пришедшими из Канева черкасскими казаками.

Во избежание подобных случаев, в Воронеже в 1593 году были построены городская стена и крепость, и он стал одним из передовых стражей на южной границе России, войдя в 1633 году в Белгородскую оборонительную черту.

В 1690 году в нем был основан Алексеевский монастырь, кирпичная колокольня которого являлась в моей молодости самым древним зданием города.

В 17-ом веке в Воронеже производилась выдача «царского жалованья» донским казакам деньгами, хлебом, порохом, свинцом, вином, салом и другими припасами, и город стал пограничным пунктом встреч иностранных послов и обмена и выкупа пленных из турецкой и татарской неволи. При Петре Великом, Воронеж, расположенный на берегу судоходной реки и представлявший собой начало древнего донского пути на юг, сыграл особую роль в истории России. Благодаря окружающим его обширным лесам, в нем издавна велись постройки крупных судов-стругов, и жило много специалистов —кораблестроителей. Это учел Великий Преобразователь и сделал Воронеж колыбелью русского флота.

На острове, против города, была выстроена одна из первых русских верфей, и началась постройка кораблей, благодаря чему город быстро увеличился и расцвел, чтобы впоследствии превратиться в один из наиболее оживленных губернских городов, имевших в мое время рекордное, по сравнению с другими провинциальными городами, число учебных заведений.

От старины в Воронеже в те годы, когда я в нем учился, оставалось еще очень многое. Так, помню старинный дом Гардениных, относившийся к началу 18-го века, старинное здание арсенала, Митрофаниевский монастырь с мощами св. Митрофана, бывшего при жизни Владыкой Воронежским и другом Петра Великого, «Путевой дворец» 18-го века, где останавливались в старину иностранные послы, и где окончил свой век последний крымский хан. Дворец был окружен каменными службами и имел обширный двор, за которым находился огромный, тенистый сад. Говорили, что дворец этот

был построен по планам самого Растрелли одним из его учеников.

На главной улице, носившей название Дворянской, было много барских особняков, из которых особенно интересным являлся дом Тулиновых со старинными антресолями.

Самым монументальным зданием города, однако, был Михайловский Воронежский корпус, занимавший огромный квартал. Построен он был в 1845 году генерал-губернатором воронежским и тамбовским Николаем Дмитриевичем Чертковым, пожертвовавшим для этого миллион рублей и 2000 душ крестьян и пожелавшим, как было сказано в указе императора Николая Павловича, «по возможности сил быть сопричисленным к военному образованию дворянства». В вестибюле корпуса стоял бюст его основателя из тонкой бронзы, с соответствующей надписью. Помимо главного здания корпуса, построенного в виде буквы Т, и окружавших его служб и садов, против него был расположен плац в четыре десятины для гулянья кадет двух старших рот, а по сторонам его — четыре четырехэтажных флигеля, в которых находились квартиры директора корпуса и офицеров-воспитателей. В Воронежском корпусе, в конце прошлого века и в начале настоящего, учились мой дядя, два моих брата и я сам.

После революции, в здании корпуса поместился Воронежский университет, а во время второй мировой войны, в 1942 году, здания корпуса были взорваны не то немцами, не то большевиками.

Митрофаниевский мужской монастырь и площадь перед ним, куда мы, кадеты строевой роты, ходили на парады воронежского гарнизона, представляли собой также исторический памятник. В монастыре многие здания, в том числе дом настоятеля и монастырская библиотека, построенные в конце 18-го века, являлись творениями знаменитого Д. Кваренги; по его же проекту была выстроена и колокольня монастыря.

Одним из красивейших зданий города было Воронежское Дворянское Собрание, с эффектным колонным залом и с колоннами на фасаде; в этом собрании я бывал на балах. По-

сещал не раз я также и воронежский Яхт-Клуб, помещавшийся на острове реки Воронеж, где при Петре находилась главная корабельная верфь. Здесь, в главной зале, был барельеф моего деда, писателя 70-х годов Евгения Маркова, бывшего в конце прошлого века и в первых годах текущего столетия председателем этого клуба и управляющим Дворянским банком. В его честь меня там принимали и угощали его старые друзья.

Вдоль Дворянской улицы тянулся Петровский сквер, в котором стоял эффектный памятник Великому Петру, опиравшемуся на якорь. Этому монументу мы, кадеты, проходя в строю на парадах к «Митрофанию», отдавали честь и салютовали знаменем.

В центре Воронежа стоял памятник воронежскому уроженцу, поэту А. В. Кольцову, сделанный в Италии из белого мрамора. На Никитской площади в 1911 году сотоялось открытие памятника другому воронежцу, И. С. Никитину, на каковом торжестве я присутствовал с делегацией от кадетского корпуса. Стихи этого талантливого поэта:

Под большим шатром голубых небес,
Вижу, даль степей зеленеется...

с кадетских лет и по сей день выжимают у меня слезу своим горячим чувством любви к родине.

Кроме всего перечисленного, большим достоинством и украшением старого и милого моему сердцу Воронежа являлись его чудесные сады-парки при усадьбах воронежских помещиков, живших на Старо-Дворянской улице, с детьми которых я учился и у которых часто бывал. Великолепен был и воронежский ботанический парк, находившийся тогда за городом, примыкая вплотную к лесам вокруг города.

Красив и живописен был старый Воронеж, окруженный на сотни верст необозримыми родными степями, которых мне уже больше не придется увидеть в жизни.

ГРУСТНЫЙ СОЧЕЛЬНИК

Против своего одинокого хутора старый однодворец Никита приметил на другом берегу речонки какой-то подозрительный темный бугорок, которого прежде не замечал его опытный глаз степняка. Смотреть его, однако, не пошел: старик был осторожен, жил не со вчерашнего дня и знал, какие оказии в степи бывают, и как ни за что ни про что добрых людей по судам мыкают.

Сколько раз к нему приставали его бабы: «Глянул бы ты, Данилыч, что за оказия такая. Навоз — не навоз, овца, что-ли сказать, околела?» — «Много вы, дуры, понимаете... Умны больно!» ругал их старик. «Брешите поменьше. Жительство наше с этого боку, а к тому боку нам нет касательства... Ну, и пущай себе лежит, не мы клали — не нам и поднимать. Господь знает, зачем положил... Вот сунься у меня кто на тот берег, я вам покажу!»

Так и пролежал с поздней осени до самого Рождества на пустом, безлюдном поле этот странный черный бугорок. Его не было видно ниоткуда, потому, что никаких дорог не проходило через это пустынное поле. Только из пасеки Данилыча можно было заметить, среди завеянного снегом поля, эту странную кочку.

Сам старик, выходя по зимним зорям на свой гуменник, подолгу смотрел, опершись на вилы, на этот загадочный бугорок. Мудреное что-то чуялось в нем сметливому старику,

и каждый раз он смотрел за реку, не случилось ли чего с черным бугорком, но в нем ничего не изменялось, он лежал окоченелый на зимнем морозе, заносимый метелями и снова оголявшийся ветром.

Удивляло Никиту и другое. Не спроста что-то ворона, птица умная, за всю зиму на этот бугорок сесть не посмела. А кружилось их над ним много.

Так продолжалось до кануна Рождества, когда, наскучив предпраздничной возней, нарушавшей весь распорядок нашего старого помещичьего дома, мы с братом и борзятником Алексеем решили съездить в снежные поля промять борзых, отяжелевших от зимнего безделья.

Оглядывая окрестности, мы ехали в санях-розвальнях без всяких дорог по степи, с четырьмя густопсовыми псами, сладко спавшими в соломе и покрытыми полостью, ища на горизонте снежных полей мышкующую лисицу или крепко лежащего на морозе зайца. Лиса, занятая ловлей мышей, видна за добрую версту из-за своей яркой шубы. Чуткий и сторожкий зверь, не допускающий к себе даже издали пешего или конного человека, весьма равнодушен к привычному для него виду крестьянских саней, подпуская их к себе иногда на несколько шагов расстояния. При этой охоте нужно только избегать направлять сани прямо на зверя, а приближаться к нему круговыми движениями так, чтобы сани были к нему всегда боком.

Необходимо, конечно, чтобы на санях не было видно собак, и собакам до последнего момента не было видно лисицы, для чего их и укладывают спать в сани под ковер или полость. Когда, наконец, сани подходят к зверю на близкое расстояние, охотник быстро сдергивает со спящих и угревшихся друг об друга псов ковер и указывает им дичь. Борзые, словно сдутые с саней ветром, бросаются на зверя, который обыкновенно не успевает по глубокому снегу развить нужную ему для спасения скорость и немедленно попадает борзым в зубы. То же самое бывает и с зайцами, в мороз-

ный день крепко лежащими в поле и неохотно покидающими свою лежку.

В этот день мы долго плутали по заснеженным голым полям, задуваемым холодным ветром, и уже под вечер, возвращаясь в усадьбу, попали на берег речонки, против пасеки Данильча. Здесь мы уже издали заметили странный бугорок, и Алексей, подозревая в нем заячью лежку, направил к нему лошадей. Я сидел в задке больших саней, в полудремоте, привалившись к покрытым полостью собакам, от которых густо несло псиной, когда внезапная остановка саней привела меня в сознание.

Алексей, замерзший с полуоткрытым ртом, сидел, натянув вожжи, с растерянным видом глядя на полузасыпанного снегом человека, который стоял на коленях в пяти шагах от нас, уткнувшись лицом в землю и натянув рыжую крестьянскую свитку на голову; волосы его развевались по ветру.

Выскочив из саней, мы бросились поднимать упавшего, но едва дотронулись до него, как убедились, что это был труп замерзшего в чугун человека, лежащего здесь, видимо, не одну неделю. Картина была жуткая и необычайная: бесприютная, голая степь вокруг стлалась насколько хватал глаз, тощие бурьяны качались на межах, а над всем этим — бледная синева неба с унылыми, как паутина, серыми облаками. И среди бесприютного поля лежал этот человек, будто прикурнув на полчаса, ничком на земле, в течение долгих зимних ночей и коротких серых дней, пугая волков и ворон.

Его поза казалась легкой и непринужденной, каждая складка одежды, каждый сгиб рук и ног говорили о свободных движениях жизни. Но, когда мы втроем взялись за этого мнимодремавшего человека и попытались его поднять, то человека уже не было: только его наружная форма, словно отлитая из чугуна, вросшая в землю и неотделимая от нее, была у нас в руках. Складки одежды уже не двигались, сгибы не разгибались, и мы не смогли даже пошевелить его

так свободно подогнувшуюся и на вид такую слабосильную ногу.

Когда, через час после этого, мы снова вернулись к этому ледяному памятнику человека самому себе, в сопровождении станового пристава, старшины и понятых, начинало вечереть. Шедший рядом с нашими санями Никита явно боялся, чтобы власти не замешали его в неприятное дело, и был непривычно словоохотлив.

«Мое дело — сторона, барчуки», повторял он, «я никаких таких делов не знаю! Что там в степи за речкой делается, то мово двора не касается. Мы с этой стороны, а степь с той. Мы туда и дороги не знаем. . . А из избы нам ничего не видать, да коли бы и видать что — дело зимнее, снегом занесет, рази видно?»

«Под снегом где рассмотреть?» подтвердил староста. «Что навоза куча, что человек — все едино. . . А только тебе, старый, господину доктору поклониться придется. Ведь как раз супротив твово двора эта оказия. Как бы еще резать к тебе не приволок. . . Опричь тебя некуда».

«Упаси меня Господь!» открещивался Никита, «восемьдесят лет прожил, никогда этого не бывало. За что мою седую бороду срамить, да еще в такой праздник?»

Когда мы приехали, наконец, на место, и понятые взялись за покойника, пытаясь его поднять, сдвинуть его с места им не удалось.

«На волосок не сдвинешь, ваше благородие», с удивлением сказал сотский, стоя на коленях возле трупа... «Чисто прикипел к земле!»

«Должно, с самого Знаменья тут лежит», сказал рыжий мужик с проницательными и быстрыми глазами, пристально глядя на замерзшего.

«А ты почему узнал? Клал ты его сюда, что ли?» засмеялся пристав.

«Класть не клал, Лука Потапыч, клал его, видать, не человек, а Николай Угодник. . . А только сейчас видать, всем коленом завяз, аж лапоть весь в землю ушел». . .

«Умницы — все знают», насмешливо сказал пристав. «Верите ли, всю зиму на поле лежал, ни одна собака словом не заикнулась, а теперь, поди, разыскали, и в какой день и в какой час свалился! Тоже народы!» Но, видимо, все же убежденный доводами мужиков, добавил: «И откуда это его нелегкая занесла сюда?»

«Видать, что не наш», ответил низенький старичок понятой, оглядывая одежду замерзшего. «Известно, не наш: портки словно как с полеха, полехи такие носят», поддержал его сотский.

«А может и саян. Саяны тоже обряды имеют»...

«Гляньте лапоть, ребята? Нешто это наш лапоть? И лыко не наше, и задник не по нашему сведен. Это вот с Моздока приходят которые, да со Старполя, у тех такие лапти бывают».

«Ну, что ж с ним маяться, ребята, под праздник! Бери топоры, вырубай его с землей, коли поднять нельзя!» решительно скомандовал становой. «А то мы с ним и сами в поле померзнем — вишь пурга начинается».

«И как это его раньше никто не оглядел? » заметил кто-то из понятых.

«Ишь ты», лукаво усмехнулся Лука Потапыч, «и чего только брешете? У вас каждый мальчишка давно знал, что на поле замерзший лежит, а вы все таитесь по глупости, думаете, как бы самим под вину не попасть... Тот молчит, этот молчит — сторонится, без меня, мол, найдут. Я ведь, ребята, все ваши тропинки знаю — стреляный воробей».

«Может, кто и знал, ваше благородие, а только нам о том неизвестно», политично заметил, глядя на начальство, староста.

«Толкуй там! Знаю я вас. Давно разнюхали, и кто такой, и шел откуда, и куда шел, и зачем шел. Что сидоровой козой прикидываться? И брехать даром нечего. Я уж их и не спрашиваю», продолжал становой, обращаясь к нам с братом, «пишу для порядка в протоколе, что, мол, при допросе со-

седних жителей оказался неизвестным. Все равно, ничего не добьешься — знать, мол, не знаю и ведать не ведаю. Да я их, впрочем, и не виню: люди рабочие, где им время на следствии да по судам терять! Верите ли, Анатолий Львович, когда я еще служил в Льговском уезде, тело тоже на самой большой дороге оказалось, на шляху. Так что бы вы думали? За четыре версты стали свертывать, прямо по хлебам двенадцать верст крюку давали, так что по овсу такую дорогу накатали, лучше почтовой».

Между тем, пока становой делился со мной воспоминаниями о своей служебной практике, понятые подрубились под труп так, что он оказался теперь точно лежащим на каменном пьедестале.

«Подымай, ребята, неси к саням!» скомандовал Лука Потапыч.

Замерзшего человека, приросшего к этому пьедесталу, как ужасающее пресс-папье, восемь человек подняли и понесли к саням. Становой хотел было везти покойника для вскрытия во двор к Никите, как ближайший к месту происшествия, но Никита энергично запротестовал:

«Ваше благородие! Не срамите на старости лет. Никогда этого сраму за мной не было. Дайте помереть честно, ваше благородие!»

Мы с братом, зная с каким ужасом относятся крестьяне к вскрытию трупов, считая его делом безбожным и позорным, оскверняющим тот дом, в котором это происходит, поддержали его, и становой переменил свое решение.

«Ну уж ладно, надо пожалеть старика, Бог с тобой. Вези в село».

И наша печальная и странная процессия потянулась к селу, везя с собой окаменелую, коленопреклоненную фигуру. Встречные крестьяне испуганно крестились при нашем приближении, глядя на сани, на которых возвышался стоящий на коленях страшный покойник.

Замерзший в камень труп и наступающий праздник Рождества помешали дальнейшему следствию, и мы, оставив

мертвеца оттаивать в пожарном сарае при волостном правлении, под караулом двух понятых, успели вернуться в уже светившуюся вечерними огнями усадьбу до появления рождественской звезды. Однако, в этот год праздник мне не показался праздником, и в рождественскую ночь мне снилась страшная фигура неизвестного на своем пьедестале изо льда и снега.

Только на третий день праздника уездный врач, приехавший из Щигрова в сопровождении следователя, мог произвести вскрытие и опознание трупа. Когда, наконец, в волостном сарае отбили с мертвеца землю и снег и, теплой водой оттаяли смерзшиеся руки, закрывавшие лицо, понятые, тесно обступившие мертвеца, сразу узнали, кто был погибший. Узнал его и я.

«Левка! Левка из Удерева! С Мелентьевского двора!» пронесся по сараю тихий и дружный шопот. Словно людям было неловко стыдить этим признанием бедного, погибшего бродягу, так долго скрывавшего от нас свое горемычное лицо.

Левка Мелехов был сын зажиточного крестьянина, мой спутник по мальчишеским охотам, а затем — молодой парень, совсем отбившийся от дела и дома, побывавший в шахтерах и там окончательно развратившийся. Оттуда он, видимо, и возвращался в родные места после долгого отсутствия и замерз пьяный в поле.

Вызванный на следствие его отец, хозяйственный, солидный мужик, взглянув на труп сына, только вздохнул и, смахивая слезы, прошептал: «Осрамил мою седую голову, сыночек! Жил, как пес, и умер так же, без христианского погребения. Ни при дедах, ни при отцах наших того на роду у нас не было, чтобы крещеного человека, как борова потрошили... Оплевал мою старую голову!»

Завыла, получив весть о смерти мужа, и его вдова, молодая бабенка Арина, хотя давно с ним не жила. Плакать и причитать ее заставлял обычай. «Нельзя, все ж таки муж!» говорили соседки.

Тяжело было на сердце и у меня, когда мы возвращались домой в усадьбу. Все мерещился, на столе волостного сарая, синий и опухший труп того самого веселого и беззаботного Левки, с которым мы так недавно еще рыскали по полям и лесам. Все трое мы были тогда веселыми и беспечными мальчишками, и никто из нас не думал, что жизнь поджидает нас в коварной засаде с горем и позором. . .

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПРИМЕТЫ НА РУСИ

В России, до революции 1917 года, с церковными праздниками по «старому» или Юлианскому стилю издревле были связаны полевые и сельскохозяйственные работы, в силу чего русское правительство придерживалось этого календаря, несмотря на то, что вся западная Европа и Америка давно перешли на грегорианское исчисление и жили, опережая нас на две недели.

Помимо связи нашего старого календаря с земледельческим населением России, с ним одновременно тесно переплетались обычао и приметы, о которых упоминаю ниже в календарном порядке.

1 января — Новый год — «году начало — зиме середка». В эту ночь, «если Васильева ночь звездная — будет в году урожай ягод».

6 января — «на Крещенье снег к урожаю».

18 января — день Св. Афанасия — «ломоносова». «Если в этот день ясно — будет недород в году».

24 января — день «Аксиньи — полухлебницы», так как к этому дню у бедных крестьян оставалось половина зимнего запаса хлеба.

1 февраля — в день Св. Трифона «если ночь звездная — будет поздняя весна».

2 февраля — день Сретения Господня — «зима с летом встречается».

8 февраля — в день Св. Захария крестьяне кропили серпы крещеной водой.

11 февраля — в день Св. Власия начинались «власьевские морозы».

27 февраля — в день Св. Прокопа — «дорог рушителя» — растаивали снега, и дороги становились непроезжими.

28 февраля — день Св. Власа «капельника».

1 марта — «на Св. Евдокею — мужику затеи» — точить соху и чинить борону.

9 марта — на сорок мучеников «день с ночью равняется, и сорок пичуг на Русь летят».

17 марта — Св. Александра «теплого». «С гор вода — а рыба в стану».

19 марта — теплая ночь в этот день к урожаю. В этот день не полагалось варить и шить, если он приходился на пятницу.

25 марта — в Благовещение, если шел дождь — значит в году хорошо родится рожь.

1 апреля — «Св. Марья — пустые щи», так как в большинстве деревень северной России за зиму к этому дню съедались все овощи.

2 апреля — Св. Поликарпа — начало на севере России крестьянской бесхлебицы, так как за зиму у большинства бедных крестьян запас хлеба был съеден.

5 апреля — день Св. Федула. «Пришел Федул — весной подул».

8 апреля — Св. Руф — «снег рушит».

11 апреля — Св. Антип, которому полагалось молиться от зубной боли.

12 апреля — в день Св. Пуда — «вынимай пчел из-под спуда», то есть полагалось выносить из погребов, где они зимовали, ульи с пчелами.

16 апреля — день Св. Ирины, «рассадницы зелени», которую в этот день впервые рассаживали на огороде.

17 апреля — полагалось выставлять пчелиные улья на солнце, чтобы проснулись пчелы.

18 апреля — на Св. Ивана «Нового» полагалось сеять морковь и свеклу.

18 апреля — полагалось обновлять холстину.

22 апреля — в день Св. Луки, выноска на гряды лука.

23 апреля — в день Св. Георгия, начинался ранний сев.

28 апреля — сеяли овес, так как народная примета говорила: «Пришел Елисей — овсы сей».

2 мая — Св. Борис и Глеб — «сеют хлеб». Этот день назывался «соловьиным», так как на «этот праздник впервые запевали соловьи».

5 мая — Св. Арина «рассадница».

8 мая — в день Св. Иоанна Богослова — «запрягай кобылицу — и паши землю под пшеницу».

9 мая — на Николин День — средний посев яровых и посадка картофеля.

14 мая — «Троица — зеленые Святки». Полагалось украшать дома и церкви березками и зеленью, плести венки. Пекли «троицын каравай», распределяли места покосов сена; кончались деревенские хороводы.

16 мая — в день Св. Федора — «житника», полагалось сеять ячмень.

25 мая — на Св. Ивана — «медвяные росы», полагался последний поздний посев яровых хлебов.

31 мая — Св. Еремея — «распрягальника», конец яровым посевам.

1 июня — «Св. Устин тянул вверх коноплю, а Св. Харитон — лен».

6 июня — «пришел Св. Ларион — дурную траву из поля вон», т. е. полагалось полоть сорные травы.

8 июня — в день Федора Колодезника начинали копать колодцы, вплоть до Св. Петра.

12 июня — на Св. Онуфрия — молились ему об избавлении от внезапной смерти.

13 июня — в день Св. Акулины «гречишницы», варили мирскую кашу для нищих.

18 июня — «Св. Федул на двор заглянул — пора серпы зубрить».

23 июня — на Аграфену Купальницу — начало купанья и собирания целебных трав и кореньев.

23 июня — в день Ивана Купалы, разжигают костры, прыгают через них, обливают водой друг друга.

29 июня — Петров День — «проводы весны».

4 июля — на Св. Марфу — «овес в кафтане, а на грече и рубашки нет».

8 июля — в день Казанской Божьей Матери, молились об исцелении от глазных болезней.

12 июля — Св. Прокл — «великие росы».

16 июля — на Св. Афиногена, замолкали петь птицы.

20 июля — в день своего ангела, Илья Пророк «в поле концы считал, грозы держал». Конец косьбы сена и начало жатвы, подрезка сотов. Илья считался «подателем дождя и ведра» При начале жатвы в этот день на поле оставляли пучок несжатых колосьев, которые оставались до увоза с поля последней копны, когда эти колосья завязывались в пучок.

27 июля — был праздник Св. Пантелея Целителя и Николая Кочанского: в этот день «капуста в кочны завивалась».

30 июля — был праздник Св. Иоанна Воина — «карателя воров, защитника от несчастий и обид».

1 августа — был первый или «Медовый Спас», когда выламывали первые пчелиные соты. В этот же день был и первый сев хлеба.

6 августа — был средний или яблочный «Спас» и начинался сев озими до дня Св. Фрола.

15 августа — день «Большой Пречистой» — назывался «спажинками», когда святили короваи хлеба нового урожая.

С этого дня и по 1 сентября было так называемое «бабье лето».

15 августа — «Третий Спас» — хлебный.

19 августа — «на Св. Феклу — копай свеклу».

23 августа — на Св. Лупа «льны лупились».

25 августа — «Св. Тит — последний гриб растит»,

29 августа — Св. Иоанн Предтеча «гонит птицу за море далече».

31 августа — «Куприанов день — журавлиный отлет».

1 сентября — начало посиделок и деревенских хороводов.

7 сентября — Луков день, начало торговли луком.

14 сентября — капустный праздник.

15 сентября — Никита «Репорез» — резали репу.

17 сентября — день Св. Веры, Надежды, Любви и Софии, считался «бабьими всесветными именинами».

18 сентября — на Арину осеннюю — «журавлиный отлет».

20 сентября — в день Св. Астафия, если ветер был северный — надо ожидать стужу, южный — тепло, западный — дожди, восточный — ветры.

1 октября — в Покров Пресвятой Богородицы — начало осенних посиделок и трепки льна на них.

18 октября — день Св. Луки — покровителя живописи.

22 октября — в день праздника иконы Казанской Божией Матери — расчет летних, сезонных рабочих.

28 октября — в день Св. Ненилы Льнянницы — мяли лен и приносили его святить в церковь.

1 ноября — в день Косьмы и Демьяна — праздник «Кузьминок» и начало морозов. «Не велика у Кузьмы и Демьяна кузница, а на всю Русь Святую в ней ледяные цепи куются», говорила пословица.

11 ноября — Св. Федор Студит «землю студил».

21 ноября — «Св. Прокоп на снегу ступал — дорогу копал».

4—12 декабря — согласно пословице — «Варвара мостила, Савва гвозди острил, Николай прибивал».

31 декабря — по народным приметам, если ночь под новый год была ясная, то наступавший год должен быть здоровым.

Ко всему вышеизложенному я считаю нужным прибавить список русских Святых и Подвижников, считавшихся на Руси покровителями и защитниками зверей и скотов.

Собирая всю жизнь русские народные предания, я рад поделиться с читателями, близкими мне по духу, теми сведениями, которыми я располагаю по этому вопросу, дабы новое поколение русских людей, идущих нам на смену, не забыло обычаев и преданий их предков.

В России большой редкостью считался древний рукописный список: **«Сказания, каким святым каковые благодати исцеления от Бога даны, и когда память их бывает».** Много лет тому назад мне удалось с этого списка снять копию, из которой ныне и привожу сведения в порядке месяцеслова.

Св. Вукол — день которого праздновался 2-го февраля, являлся покровителем телят.

Для избавления от скотского падежа полагалось молиться Св. Власию, память которого чествовалась 11 февраля, и в этот день ему приносили молоко, масло и творог.

Св. Онисим, праздновавшийся 15 февраля и Св. Абрам — 29 числа того же месяца, являлись покровителями овец и овечьих пастухов.

25 марта в день Благовещения по всей Руси был светлый обычай выпускать на волю птиц из клеток и одновременно кормить заключенных в тюрьмах, которых народная мудрость уподобляла птицам, лишенным свободы.

23 апреля в день праздника Св. Георгия, или на народном языке «Весеннего Егория», полагалось молиться ему о сохранении скота от съедения его дикими зверьми, так как Св. Георгий повелевал, по указанию Божьему, всеми зверями и, в частности, волками. Ни один зверь не мог поэтому захва-

тить себе добычи без воли этого святого, почему существовала поговорка: «что волку в зубы попало — то Егорий ему дал».

В день этого праздника впервые в поля выгонялись стада, и служились под открытым небом молебны, причем пастухи должны были обращаться к Св. Георгию с молитвой: «Храбрый наш Егорий — паси нашу скотину безопасно».

По народному сказанию, в этот день святой разъезжал по лесам и полям и давал зверям наказы, так как они все были у него в подчинении. В Малороссии, где его называли «Св. Юрком», этот святой считался покровителем ее, как Св. Николай был специально московским угодником.

2 мая, в день Св. Бориса и Глеба, впервые запевали соловьи, почему оба эти убитых князя считались их покровителями.

На Св. Симона Зилота 10 мая, а также в день Св. Духа земля считалась именинницей, и было грехом в этот день ее копать или пахать.

13 мая праздновалась Св. Лукерия — покровительница комаров.

28 мая — Св. Никита, покровитель гусиных стад. Он же праздновался и во второй раз 3 апреля, но в этот день считался покровителем рыболовов.

Св. Исаакий, праздновавшийся 30 мая, считался покровителем змей.

Св. Мефодий, память которого была 20 июня, считался покровителем перепелов и куропаток.

23 июня на Ивана Купалу, с заходом солнца, начинался праздник насекомых, и в эту ночь, согласно народному поверью, червяки «вздували огоньки своему святому».

29 июня, в день святых Петра и Павла, начиналась на Руси охота на первую дичь, которая к этому дню успевала вырастить птенцов, могущих существовать самостоятельно, и этот день считался праздником охотников.

Кузьминки, то есть день 1 июля, а также день Св. Сергия 25 сентября были куриными праздниками.

Св. Стефан, праздновавшийся 2 августа, и Флор и Лавр в день 18 августа, равно как и Св. Мамонт 2 октября, являлись покровителями коней, и их иконы вешали в конюшнях и варках.

Св. Зосима и Савватий, память которых 19 сентября, были покровителями пчел и пасек, так как они, согласно церковному преданию, вывели с Востока на Русь пчелиные рои, неся пчелиных маток в своих, выдолбленных внутри, посохах, а за ними тучей летели пчелы.

Св. Иона, празднуемый 22 сентября и бывший, по библейскому преданию, во чреве китовом, являлся покровителем рыб, которых в его день не полагалось ни ловить, ни есть.

Св. Косьма и Демьян, праздник которых приходился на 1 ноября, были покровителями всей домашней птицы.

Св. Акулина — 7 апреля — считалась покровительницей ягод, и в этот день, по народному поверью, «даже медведь не ел малины».

Пророк илья, праздновавшийся 20 июля, являлся повелителем грома и молнии и хранителем сена.

Св. Серафим Саровский, день которого приходился на 19 июля был покровителем медведей, почему на всех его иконах полагалось, по закону церковной живописи, изображать медведя, жившего в келье этого подвижника в Тамбовской губернии.

Кстати добавлю, что на древне-русском языке названия месяцев имели следующие наименования: Январь — «Просинец». Февраль — «Сечень». Март — «Сухий». Апрель — «Цветень». Май — «Травень». Июнь — «Изок». Июль — «Червец». Август — «Серпень». Сентябрь — «Зерень». Октябрь — «Листопад». Ноябрь — «Грудень». Декабрь — «Студень».

Зимы в старое время, по их продолжительности и непогоде также имели особые народные наименования. Так, у нас

в Курской губернии зима, когда на Крещенье случались дожди, и оттепель неожиданно нападала на середину зимы, носила название «зимы-хавроньи». Зима, которая во весь свой сезон бывает непогожая, носила название «зимы-курицы», так как она, подобно курице, прибегала и также уходила. Теплая зима, во время которой даже беднота, не имеющая шуб, не мерзла — называлась «сиротской». Зима ясная и погожая, и в то же время с крепкими морозами, носила название «зимы — кочеток» и считалась полезной для урожая, человека и скота. И, наконец, хотя и редко, но выдавалась зима — «жеребец», которая начиналась рано, кончалась поздно, отличалась сильнейшими холодами и обилием снега, и ее признаком было то, что от мороза из ворот выскакивали гвозди. В такие зимы обыкновенно замерзало на Руси в полях и на дорогах много народа.

Охота и природа

Четыре времени года в деревне. Перепела. Охотничьи истоки. Алеша-Календарь. Звериное кладбище. Рыбная ловля. С борзыми. Зимняя охота. Звериные пастыри. Наши младшие братья. Кшысь и Марыня. Джерри.

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА В ДЕРЕВНЕ

Из всех четырех времен года я, как охотник, любил больше всего осень — сезон скитаний и бродяжничества. К Покрову, в нашей Курской губернии сады уже насквозь пропитывались запахом спелых яблок. У шалашей сторожей, на свежей соломе они лежали грудами, румяно-крапчатые, желтые и матово-белые, знаменитая курская «антоновка». Садовники вязали рогожные бунты, грузили телеги.

Завтра «Спас-праздник» и яблоки впервые шли на базары.

Кучка деревенских мальчишек и девочек, босоногих, в разноцветных рубашенках, обсели, как стая воробьев, вороха с «падалками». Кто из них принес копейку, кто пяток яиц, кто отчаянно пищавшего цыпленка с голой шеей. Падалки, по обычаю, поступали во владение сторожей, и потому все доходы с ребячьего аппетита шли в их карман. Тут же несколько баб выбирали для себя гнилые, уверяя, что «они хоть и прелые, а сладкие, с кваском».

С каждым днем все больше редело в садах и рощах. Клен осыпал дорожки желтыми звездами своих листьев. Забуревал лист и на яблонях, и по густым купам ракит словно брызнуло сединой.

Сухо и ясно в воздухе, никогда не были так красивы наши старые сады, переливаясь всеми оттенками цветов, никогда не бывали так дороги последние запоздавшие остатки замирающей на зиму природы. Лето окончательно уступило

сытому румянцу осени. Красные гроздья рябины, шиповника, калины и барбариса горели ярким пламенем среди потускневшей зелени. В траве, на деревьях и на небе преобладали красноватые оттенки. Наступала настоящая «красная осень».

Улетали из садов уже иволги и горлицы, редко можно было заметить какую-нибудь запоздалую птицу.

Было что-то прощальное и трогательное в русском осеннем пейзаже: последняя догорающая яркость красок, последняя жизнь в поле, последнее тепло. Колорит осени особенно гармонировал и мягко ласкал глаз, все в нем принимало мягкий, пастельный тон: избы, лес, трава и дали. Этот золотисто-коричневый колорит мы видим на картинах старинных мастеров. В пруду вода особенно чиста и прозрачна, как жидкий хрусталь, едва гнется его зеркальная поверхность, на которой желтый лист плавает сверху не погружаясь в этот голубой хрусталь. Облик садов, камышей и мельницы отражаются в воде словно живые.

А дали!.. Словно это незнакомые, привычные дали родных мест. Все в них теперь туманно-голубое, мягкое, ласкающее глаз. Видны места, которых давно не было видно за стенами зелени и густой листвой деревьев. Светло в них; широко и пусто. Курятся в дали степи лишь дымки пастухов, да по жнивьям кое где еще бродят стада овец. Жизнь с каждым днем все больше уходит с полей к деревням и гумнам.

Жестокий холодный ветер не переставая начинал дуть в конце октября через пустые, почерневшие поля, обивая последний лист, изгоняя последнюю птицу, наводя тоску на душу человека. Скотина больше не выгонялась в поле, оно пустело окончательно, обезлюдивало, и только седые бурьяны на межах одиноко колыхались по ветру. Высоко в холодном воздухе тянулись на юг журавли. С мерным жестким скрипом, не спеша, махали они своими большими крыльями, вытянувшись друг за другом косым треугольником.

Хотя по пословице «Введенье ломает леденье», однако, и на Введенье зима не сдавала. С декабря месяца начинались страшные морозы. «Варвара приходила с молотом,

Микола с гвоздем» — «Варвара мостила — Микола гвоздил».

К Варвариному дню щигровский мужик уже верил, что зима «стала», и что «открылся путь». Бородатые красные рожи в полушубках и овчинных тулупах, плотно подпоясанные, закопошились по всем селам и деревням. По большому, одиннадцатисаженному шляху, по которому еще Батый ходил громить московское соломенное царство, двигались обозы с рогожными тюками, с высокими крашеными дугами, с толстоногими коренниками. Начинались ярмарки в Курске, Тиме, Щиграх и Коренной. Поползли из своих голодных лесов полехи в наши хлебные места с досками и бревнами.

Наступали, наконец, ясные и синие морозные дни, с глубоким рыхлым и скрипучим снегом, с черными галками на ракитах, те дни, когда Русь особенно кажется Русью, когда русская печь, русский тулуп, русский самовар и русская водка делались особенно понятными. Таких дней не знает и никогда не узнает иностранец, русский же человек, привыкший к ним, делается от них только веселей и разговорчивее, похлопывая рукавицу об рукавицу, да перетоптываясь с прибаутками на месте, чтобы «пятки к снегу не пристали».

После Николы начиналась у нас настоящая зима с холодами. Народ терпеливо переносил никольские морозы, зная, что за ними придут другие: сначала филипповские со Спиридона-поворота, когда «солнце поворачивается на лето, а зима на мороз»; потом рождественские; потом крещенские — самые лютые, а там сретенские, когда «зима с весной встречаются», афанасьевские; пока не придут «Сороки». От «Сороков» остается всего сорок последних морозов, а там тепло.

Уже с Евдокея — «навозные проруби», начинает показываться весна. На Евдокея уже «курица у порога напивается». В Сороки жаворонки должны прилететь, с Алексея-Божьего человека «с гор потоки»; потом, смотришь, и Красная Горка — холмы зеленеют. Какая будет погода на Красную горку такая и все лето, на нее же замечают, можно ли сеять гречиху или нет. В апреле, по народной поговорке, «земля преет»,

а на Руфа — земля рухает и все оттаивает, начинается весна.

Уже после Благовещения в наших местах чувствуется начало весны. Могучее, но мягкое дыхание, несется с юга на широких, упругих крыльях и уносит обессилевшую зиму. Один день сделал то, чего не могли сделать недели оттепели, целые поляны, целые горы сразу обнажались до гола. Певучие потоки, искрящиеся весельми огоньками весеннего солнца, с блеском, бульканием и журчанием неслись вперегонку друг другу из далеких полей, и все они падали с разных сторон в нашу степную речку, которая сразу стала могучей и грозной рекой, ломавшей свои посинелые льды.

Прежде всего в наш пруд под горой, на которой стоял дом, пришел огромный «Ракитин верх», изобиловавший летом всяким полевым зверем и птицей. Его многочисленные отвершки в дальних полях, известные разве одним лисицам, налили его до краев. По оврагу, в котором летом росла веселая зеленая трава, а на дне паслись табунки серых куропаток, теперь неся могучий синий поток. Вслед за Ракитиным верхом «тронулись» и другие овраги, логи и верхи. Пять месяцев сряду набивали их зимние вьюги и мятели снегом; набили, как хороший ледник до самого края, вровень с полем, так что серый волк — обычный странник этих мест, переходил их поперек, как по ровному месту.

День и ночь ревели воды, проходя через мельничную плотину, у которой были открыты все заставки и все же пруд был переполнен до краев и вокруг него залиты все сады, от которых на поверхности торчали только голые вершины деревьев.

Как только стали спадать вешние воды — прилетели птицы. Накануне их еще не было, а утром, в день прилета, они повсюду : между кочек луга, на озерках, в камышах и перелесках. Их гонит с юга тоже какая то непобедимая, роковая сила. Еще нет корма прилетевшим путникам на безотрадных, не оттаявших полях, а уже поля и лужи закипели жизнью. Пернатое племя чуяло подступающий жар крови, время

размноженья и витья гнезд и неслось поэтому косяками навстречу прохладным ветрам уходящей зимы. Везде по лугам, садам и полям сидела, ходила и перелетала перелетная птица. Торопливо кружились в воздухе стаи, ежеминутно падая куда-нибудь в лужу, чтобы долго затем из нее не подниматься. На всех кочках луга сидели бедные, усталые чибисы, насторожив хохлатые головки. Всю ночь был слышен скрип крыльев возвращающихся журавлей. Словно чьи то несметные рати перекликались в воздушных высях птичьи стаи.

Утром, выйдя пройтись по старому саду, бывшему еще наполовину в снегу, я с радостно дрогнувшим сердцем согнал, сорвавшегося из малинника, первого вальдшнепа.

Как только сошли вешние воды, весна начинала свою могучую работу. К концу апреля глубокая горячая синева глядела уже сквозь зеленые шатры листвы, а в высоком безоблачном небе медленно плыло горячее солнце. В сквозных зеленых аллеях сада, которые высокими сводами шли от дома к пруду, еще стояла зеленая прохладная полутьма, лиловым кружевом мигают по золотистым от солнца дорожкам тени деревьев, резко отделяясь от золота, зелени и синевы, которыми сверкал весенний полдень. Из каждого вершка сочного курского чернозема лезла, напирая и распирая, зеленая растительная мощь: густые, кудрявые травы поднимались не по часам, а по минутам, раскрывая цветы полные красок и аромата. Одна и та-же черная сырая грудь земли высылала изнутри себя, под дыхание весеннего солнца, и голубою незабудку, и сквозной пушистый пузырь одуванчика, и миндальную медовую таволгу. Плодотворная сила проникала в бездушные толщи и обращала их в неиссякаемые утробы рождения.

Наливались тугие почки и тут же лопались от переполнения своими собственными соками. Мясистые душистые плоды завязывались из сквозных листиков, тонких как крыло бабочки. Кровавый сок вишни густел в белоснежных лепе-

стках. Ананасом пахнувшая ягода земляники налилась в глуши трав из белого цветка.

Сила жизни била из недр земли неудержимым, страстным ключем: вчера упавшее зерно, сегодня уже пило солнечный свет своей зеленой былинкой, роясь тонким корешком во влажной и теплой почве. Вода, воздух и земля были полны нарождающихся организмов.

Плодородие было разлито в неподвижном воздухе, в этих роскошных наливавшихся побегах. Яблони стояли рассеянные по зеленой густой траве, как невесты, убранные на свадьбу сплошными букетами белых цветов, распростерши-ми, отягощенные цветами. Везде была незримая внутренняя работа зарождения, везде шум и голоса любви. Что было вчера сухим прутом, то сегодня оделось пышным листом, и даже сквозь мертвый скелет пня пробила сплошной порослью сочная молодая почка. Она развернула уже листы и укрыла молодой жизнью остатки смерти.

Сквозь слои хвороста, сквозь навозные насыпи рвов и заросли камыша на реке, непобедимо пробиваются зеленые, молодые травы. Ширится лопух, густеет сныть, тянется на высоту кустов упрямая крапива и чистотел, заполняя все своей жирной зеленью. Все цвело и выползало, чего не было видно несколько часов тому назад. В воздухе, в цветах, в траве, в земле, на деревьях кишат, снуют и жужжат всякие мошки, бабочки, жучки и червяки. Все это искало друг друга, все торопилось выполнить зов природы, все было полно творящей силы любви; птицы и пчелы, лягушки страстно кричавшие день и ночь, распускавшийся цветок и пробивавшийся побег. В конце апреля начинались обыкновенно теплые дожди, после которых наступали те влажные, настоящие майские ночи, когда начинали расцветать белый жасмин и розы.

Душистый пар днем и ночью стоял в садах между неподвижными зелеными шатрами лип, каштана и клена. Ночью все пело кругом: из каждого куста лилась неудержимая страстная песня соловьев, которые составляли славу наших мест, они изнывали в любовных трелях. Казалось сама май-

ская ночь, наполненная запахом цветущей сирени, в этих страстных переливах выливалась в ту потребность любви, которая переполняла живущее и растущее в ней, и которой трепетала вся природа.

Минули май и июнь и с ними отошла веселая работа сенокоса, вслед за чем русская деревня стала готовиться к центральному и самому главному периоду крестьянской жизни — уборке хлеба.

Эта последняя у нас начиналась обыкновенно после «Казанской», хотя часто после этого чисто народного праздника, наносило дождь и около недели стояла на дворе мокрая погода. Налив зерна в этом случае останавливался и только к «Ильину дню» ветер высушивал и обдувал колосья. Афанасий Неумираев, седой столетний старик, почитавшийся в округе вроде местного «щура» древних славян, с лысой, как колено головою, каждое утро ходил смотреть «налив» колоса в поле. Много лет подряд, из года в год, ему принадлежало право устанавливать первый день жатвы. Он видел уже шестое поколение людей и был сыном и внуком таких же долголетних людей, за что всю их семью и прозвали «Неумираевыми».

«Молочка в зерне хошь и не стало видно», отвечал он на вопросы, «да только рано еще, нехай закалянеет зерно трошки». За день до «Ильи-пророка», наконец, старик торжественно заявил старшине, что «кормилица готова, зернышко на жаре словно рогом взялось», и на другой день, после праздника, с зарей на полях закипела работа.

Безмолвное и безлюдное поле желтых колосьев, стелившееся насколько только хватал глаз необъятной шириной, вдруг закипело, как муравьями, работающим народом. Дружно, нога в ногу, плечо к плечу, рядами, двигались белые рубахи и бородатые лица на клины ржи и гречихи, дружно мелькали на солнце сверкавшие жала кос. Несколько недель подряд шла на полях горячая работа, и с каждым часом все гуще становились ряды тяжелых копен. Все дальше и даль-

ше отступали от наступающих кос редкие уже теперь острова стоявшего хлеба. Следом за косцами подвигалась и вязка.

Красные юбки и желтые кофты маковым цветом были рассыпаны по скошенным жнивьям, повсюду гнулись бабьи спины и мелькали загорелые руки. Захлестывая через плечо соломенные перевясла, быстро перетягивали они тугие снопы и крестами клали их друг на друга. Пот градом катился по лицам черным от пыли, ныла спина, ломило ноги, а вздохнуть было некогда: низко уже было солнце, а впереди еще лежали длинные, несвязанные ряды.

«Ну, ну... бабы, вяжи, не зевай!» Сурово покрикивал лысый староста Савелий, широко шагая расставленными ногами во главе дюжины кос, весь насквозь промокший от пота, без шапки и босой.

Кончилась страдная пора к самому Успению, и по беспредельному полю поползли во все стороны тяжко нагруженные снопами, бесконечными вереницами возы. От зари и до зари, медленно тянулись они повсюду, куда не кинешь взгляда.

На гумнах, около крестьянских конопляннинов, выросли круглые, островерхие одонки, словно высыпки золотистых грибов-масленок, поднявшиеся среди зелени ракит и темных крыш деревни. Золотое обилие глядело из каждой околицы и каждого двора. Мужику теперь уже не страшна была зима с ее голодным зевом и холодным дыханием — был хлеб людям, корм скотине, солома для печи.

Молотьбу я любил смотреть у нас на гумне, где у отца, по старине, была приводная, американская молотилка в шесть лошадей, ходивших по кругу. Сквозь открытые настежь ворота риги выносило клубы пыли, шум и грохот. В полутьме огромного сарая, сквозь едкую пыль, неясно мелькали потные лошади с соломенными пучками в ушах, тяжко, но дружно ворочавшие огромное скрипучее колесо привода. Мальчишка, сидевший на водилах орал на них беспрерывно и не жалея кнута. Колеса и блоки вертелись с глухим

гулом, ремни хлестали по воздуху, зубья барабана вертелись и ревели.

Весь пол риги был завален снопами, еще больше усилившими темноту помещения.

Высокий рабочий, весь почерневший от пыли, часами сильными взмахами совал в барабан тяжелые снопы, которые баба подносила ему сзади.

Туча пыли, хоботья и зерна, в перемежку с обрывками соломы выскакивала с другой стороны из железной пасти машины, обдавая собой кучу баб, проворно оттребавших солому. Худощавая, небольшая бабенка, перегнувшись вдвое, вся забрасываемая тучами пыли, работала под самым барабаном, быстро сгребая граблями. Штук шесть других перехватывали у нее солому и отбрасывали ее к воротам.

На двух соседних с ригой токах молотили цепами гречиху. Саянки в клетчатых паневах, однодворки в миткалевых рубашках и монистах и дворовые в темных юбках и замашных рубахах работали весело и дружно. В воздухе высоко взмахивались десятки цепов, взлетали тучи пыли и хоботья, дождем падая сверху. С глухим стуком цепов по убитой твердой земле сливались в один сплошной гул, говор и смех молотильщиц. Суровая, осанистая фигура «приказчика» — Дементиевича, в синем армяке и с длинным черешневым батожком-символом мужицкого почета и власти, солидно расхаживал по гумну, отдавая неспешные распоряжения.

Молотьбой обыкновенно заканчивалась летняя работа в деревне, а с ней и последний из четырех сезонов года, которые я взял на себя смелость здесь описать читателю.

ПЕРЕПЕЛА

Заходит солнце над полями
И в мокрой ржи кричат перепела...

С этими уютными и кургузыми птичками у меня с детства и в течение всей жизни были совершенно особые отношения взаимного доверия и дружбы. Причиной этого была, как любовь к природе вообще, так и друг моего детства в частности — пасечник Моисеич.

Это был уже пожилой крестьянин лет под шестьдесят, страстный любитель перепелиного крика, их искусный ловец и замечательный знаток. В наших курских местах, изобилующих знаменитыми на всю Россию соловьями, как это не парадоксально, было много таких любителей перепелиного крика, или по выражению знатоков «боя». Перепела-самцы, как известно, издают всего две музыкальные фразы, но их выполнение различными особями этой породы весьма разнообразно и является целой гаммой, начиная с неразборчивого бормотания «плохих» перепелов и кончая отчетливым, звучным и музыкальным криком редких солистов, высоко ценимых любителями.

Моисеич был именно одним из таких знатоков, за что пользовался далеко вокруг самой широкой известностью. Как выше упоминалось он был искусным ловцом перепелов, и я сошелся с ним именно на этой почве.

Общая охотничья страсть сгладила между нами разницу в возрасте и мы — старик и мальчик — стали закадычны-

ми приятелями, проводя в обществе друг друга целые дни в бесконечных разговорах о предмете нашей общей страсти.

Моисеич скоро научил меня всем секретам и тонкостям ловли, причем смотрел на перепелов, исключительно, как на «певчую птицу» и почитал непростительным грехом употреблять их в пищу, как это делали уже тогда горожане. Он проводил иногда целые недели, выслеживая по всем окрестностям какого-нибудь особо-голосистого пернатого солиста. Любители поэтому приезжали к нему для приобретения «певчих перепелов» издалека, иногда даже из других уездов.

Старик по всем этим причинам «держал на учете», как он говорил, всех сколько-нибудь «выдающихся» птиц в окрестности, и мы с ним частенько ездили в качестве экспертов то к одному, то к другому любителю послушать новых перепелов и оценить их качества.

«Хорошим» перепелом считался такой, который, после произнесения страстным и звучным шопотом звука «ва-в-аа», полнозвучно и на высокой нотке отчеканивал вторую часть своего коротенького репертуара «фить. . . фирвить», которая далеко раскатывалась в вечернем воздухе. С течением времени, под руководством Моисеича, я превратился в знатока перепелиного боя, с которым советовались, как равный с равным, опытные любители, а затем и вообще пристрастился к этим милым птицам родных полей.

Ловля певчих перепелов в наших местах начинается в середине июля, когда хлебные поля выкинули уже колосья и, в их зеленой сени, каждый вечер при заходе солнца начинались перепелиные концерты. Ловили при этом у нас перепелов исключительно любители, не стремившиеся извлечь из своей страсти какую бы то ни было материальную выгоду.

На вечерней заре, с принадлежностями для этой ловли, или как выражался Моисеич «со всеми причиндалами», мы отправлялись с ним обыкновенно куда-нибудь в хлебные поля, где уже заранее он «наслушал» какого-нибудь осо-

бенного голосистого перепела. Здесь, чтобы не топтать зря хлебов, мы у межи расставляли сеть и начинали с молитвой ловитву. «Причиндалы» Моисеича для этого рода охоты были несложны и состояли из сети, байки и легкого холстяного мешка для добычи.

Сети и байки он делал сам, на что требовалось много опыта, любви к делу и знания перепелиной психологии. Так, сеть вязалась из тонких льняных ниток, обязательно окрашенных в светло-зеленый тон, дабы она сливалась с цветом еще не созревшего хлебного поля. Ячейки в ней должны были быть такой величины, чтобы в них свободно проходила головка птицы. Что-же касается размера самой сети, то она не должна была превышать двух квадратных сажен. Сеть эта расстилалась поверх колосьев и свободно колыхалась от ветра вместе с ними.

«Байка» — являлась духовым инструментом, подражавшим голосу перепелки-самочки и представляла собой кожаный цилиндрик, величиной с ладонь, сужавшийся к одной стороне, где в него был вставлен пищик из тонкого камыша. Все это вместе издавало при нажиме звук, неотличимый от крика перепелки.

В неопытных руках байка ничего не стоила и вместо нужного звука издавала свист, на который перепела не только не шли, а наоборот, немедленно замолкали и удирали со всех ног подальше от неумелых ловцов.

Усевшись на землю среди ржи, мы сидели неподвижно и терпеливо дожидались пока, замолкшие при нашем приближении, перепела снова начинали прерванный концерт, вызывая самочек, притаившихся среди полей.

Склонив голову на бок, Моисеич чутко прислушивался к их голосам, пока не начинал своего «боя» тот, которого он заранее наметил. Байка в руках старика в тот-же момент отвечала перепелкой, после чего следующий крик перепела слышался значительно ближе. После трех, четырех таких перекличек мы слышали во ржи легкий мышиный шорох крохотных лапок птицы и перепел подавал голос уже под

самой сеткой. В этот момент Моисеич вскакивал, и одновременно с ним взвивавшийся вверх свечкой перепел, запутывался в сеть.

Пойманная птица бережно распутывалась и помещалась в мешок, после чего ловля продолжалась тем-же порядком. Случалось, в одну удачную зорю, мы с Моисеичем добывали до двух дюжин перепелов, которые затем рассаживались, каждый отдельно, в особые «перепелиные» клетки, имевшие лишь пол и четыре столбика по углам. Стенки же их обтягивались рыболовной сеткой, а потолок представлял собой кусок холста, так как перепела в неволе беспрерывно подпрыгивают, стараясь освободиться и немедленно погибают, разбив себе голову о потолок, если их посадить в обыкновенную птичью клетку. После недельного испытания Моисеич сохранял только птиц с хорошим боем, остальных же, лишенных по его мнению вокальных способностей, выпускал на свободу.

Привязавшись к перепелам, я,помимо, так сказать, «певчих» экземпляров, живших в клетках, завел у себя целое перепелиное хозяйство, для чего в мое распоряжение была отведена в подвальном этаже нашего деревянного дома комната с кирпичными стенами и полом, носившая наименование «каменной». В ней три года подряд у меня жило до трех сотен перепелок, начиная с едва вылупившихся из яиц цыплят и кончая грудастыми, величиной с хороший кулак взрослыми перепелами. Самочки-перепелки, имевшие каждая по многочисленному потомству, вели себя при этом, как настоящие куры-наседки, хлопотливо и заботливо путешествуя со своим потомством из одного угла огромной комнаты в другой, и роясь в песке и соре, покрывавших пол «каменной». Цыплята — крохотные, коричневые, пушистые шарики отличались невероятной подвижностью. Посредственные летуны, перепелки «в пешем строю» замечательные бегуны, и я всегда с неослабевающим вниманием и изумлением, как на истинное чудо природы, смотрел, как едва вылупившиеся из яйца крошки, с еще присохшей на за-

дике скорлупой яйца, стремительно выскакивали из гнезда, где только-что появились на Божий свет и, как молния, проносились через всю комнату к кормушкам, куда их призывала мать.

Проводя целые дни в перепелином обществе, я скоро настолько сжился и вошел в их несложный обиход жизни, что по подсознательному чувству ребенка, ближе стоящего к природе, чем взрослый человек, стал с первого взгляда различать перепела от перепелки, знал каждого и каждую из них «в лицо», разбирался во всех оттенках их писка, словом почувствовел себя, в конце концов, полноправным членом перепелиного общества. Мои маленькие друзья со своей стороны настолько ко мне привыкли, что едва я входил в «каменную», как она наполнялась многоголосым, радостным писком, и из всех гнезд и углов на меня летели, сыпались и катились перепелки всех цветов и размеров. Усевшись среди них на деревянное корытце-кормушку, я часами сидел в этом перепелином царстве, а по мне бегали, трепеща крыльями и густо покрывали голову, плечи и колени десятки больших и малых птичек.

Было совершенно очевидно, что они приняли меня в свою среду, как равноправного члена и больше не считали за человека, исконного врага и беспощадного истребителя их беззащитного перепелиного рода.

Умница-природа, учитывая эту беззащитность, дала перепелам единственный способ самозащиты, без которого они давно бы исчезли с лица земли. В птичьем царстве существуют виды, которые силой крыльев, клюва и когтей в состоянии защитить себя от зверя и себе подобных, в то время, как от человека их спасает жесткое и несъедобное их мясо. К этому виду принадлежат все породы хищных птиц, которые по этим причинам очень мало умирают насильственной и преждевременной смертью Для сохранения на земле этой породы поэтому совершенно достаточно им нести в год по два яйца, которые им природа и определила.

Совсем другую картину мы видим среди птиц куриного семейства, к которым придалежат перепела, они плохо летают, не имеют ни острого клюва, ни когтей, благодаря чему являются легкой добычей всякого зверя, уж не говоря о человеке. К тому-же, на их несчастье, природа наделила перепелов вкусным и жирным мясом. Не будь налицо мудрого Божьего закона, по которому перепелки несут в одно гнездо до 35 яиц, их давно-бы уже не было на свете.

Над моим увлечением перепелками родители и гувернеры вначале посмеивались и им забавлялись, как детской блажью, но затем, когда дело затянулось, и я стал дичать, предпочитая птичье общество человеческому, старшие забеспокоились. Критическим моментом послужило столкновение между моим молочным братом Яшкой — сыном моей кормилицы и мною. В свирепой драке с ним я пустил «юшку» из Яшкиного курносого носа за то, что обнаружил у него над кроватью умирающего перепела с окровавленной головой, которого Яшка по глупости засадил в канареечную клетку.

Моя гувернантка Мария Васильевна, несмотря на свои Бестужевские курсы, никак не могли понять, как я мог «из-за паршивой перепелки» и притом мне не принадлежавшей, исколотить своего закадычного друга, с которым жил душа в душу со дня нашего рождения в один и тот-же день и год. Помимо строгого наказания, которому я был подвергнут, это «возмутительное дело» было доведено до сведения отца, который назвал меня «психопатом» и приказал немедленно выпустить из «каменной» всех перепелов, а Моисеича, которого считал виновником моего увлечения, не пускать в усадьбу.

Ликвидацию «каменной» я произвел собственноручно, причем, несмотря на привычку, еще раз был поражен тем, как мгновенно исчезла вся перепелиная команда среди стеблей просяного поля, куда я их выпустил. Особенного огорчения от этой операции я, впрочем, не испытывал, так как и до родительского приказа периодически освобождал пере-

пелок, достигших по моему мнению совершеннолетия, и даже, к возмущению Моисеича, «солистов», живших в клетках. Из-за этого у нас со стариком были неоднократные столкновения, всякий раз когда он обнаруживал, что из клеток исчезал какой-нибудь перепел, вокальные способности которого ему были хорошо известны.

— «Ну, на что ты, барчук, выпустил хорошего перепела?» возмущался старик — «ведь-ты же сам его бой хвалил?»

— «Оттого, Моисеич, и выпустил, что он мне удовольствие доставил, надо его было за это поблагодарить, а не наказывать»...

От этой логики у Моисеича пропадал дар слова, и он только возмущенно хлопал себя по коленке и предсказывал совершенно справедливо, что из меня «никогда не выйдет настоящего охотника», в чем и был прав. Сам он мог часами слушать голосистую птицу, сидя неподвижно с закрытыми глазами, причем, если перепел был особенно хорош, то по морщинистому лицу Моисеича от восторга и умиления катились крупные слезы.

В год ликвидации перепелятника меня отдали в кадетский корпус, и моя непосредственная связь с перепелиным миром прекратилась. На каникулы я хотя и ходил еще к Моисеичу на ловлю, но уже редко, так как начал увлекаться ружейной охотой, которая постепенно вытеснила мою прежнюю детскую страсть. Тем не менее я продолжал любить перепелов и на охоте ни разу не стрелял по перепелке.

За годами учебы пришла война и революция и уже в изгнании судьба забросила меня в Египет, страну, которая в жизни перепелиного народа играет весьма важную роль. Во время осенней эмиграции птиц с севера на юг, перепела летят через Средиземное Море из России в Египет. На его песчаные пустынные берега эти птички, выбившись из сил, падают буквально массами, неспособными уже больше ни на какие движения. И здесь их, измученных, едва дышащих от утомления, арабы-хищники ловят в расставленные вдоль

берега огромные сети или просто избивают палками сотнями тысяч...

В сентябре и октябре месяцах все базары Египта ежегодно бывают завалены маленькими трупиками и низкими деревянными клетками, в которых едва шевелятся набитые в них до отказа перепелки.

Я всегда отворачиваюсь от этого отвратительного зрелища человеческой жестокости и жадности, и мне кажется, что каждая из птичек вывелась и выросла в моих родных полях, которые я уже никогда не увижу.

Однажды, это было в годы последней войны, я проходил по улице Александрии, когда, вдруг, почувствовал мягкий удар в голову и на тротуар к моим ногам упала перепелка, остававшаяся лежать с распростертыми крыльями и тяжело дышавшая. Она, вовидимому, только что перелетела через море и, будучи не в силах лететь дальше, упала мне на голову.

Дома, осмотрев ее, я убедился, что птица невредима и нуждается только в отдыхе и пище. Посадив ее в корзинку из кукольного хозяйства дочери, я поставил ее на книжный шкаф в своем кабинете, куда навсегда, под страхом истязания, был запрещен вход нашим двум котам, с помощью которых мы с женой поддерживали в городе связь с природой.

Первый день моя воздушная гостья сидела не шевелясь и не подавая признаков жизни, на второй стала пошевеливаться и даже клевать из рук и в ту-же ночь забилась в корзинке, издавая какие-то призывные звуки. Утром, осмотрев путешественницу, я убедился, что она окончательно оправилась и ей пора лететь дальше по установленному для нее Богом пути. Выпустить ее просто на свободу, однако, было нельзя, надо было найти безопасное от кошек место, так как я не был уверен, что она полетит сразу. Жили мы тогда вдали от всяких полей и для спасения этой птичьей жизни не оставалось ничего другого, как использовать мое служебное положение. В это время я служил капитаном египет-

ской военной полиции в Александрии и в качестве офицера связи руководил с начала войны командой из трех констаблей-египтян и девяти сержантов английской военной полиции, представлявших собой армию, флот и авиацию союзников.

Обязанности наши заключались в том, что с наступлением ночи мы должны были объезжать бары, ночные клубы, кабарэ и прочие злачные места, дабы в оных не нарушался порядок, прекращать вспыхивающие поминутно драки пьяной солдатни и забирать в кутузку всякий темный туземный люд, вертевшийся около солдат в отпуску.

Служба эта была скандальная и беспокойная, постоянно требовавшая применения грубой физической силы, в соответствии с чем все люди моего «экипа» были здоровенные, решительные парни боксеры, во главе с «саржент-мэджером» — Хаузом, огромным рыжим шотландцем, бывшим до войны полисмэном в Лондоне. Он прошел хорошую школу, отличался редким хладнокровием и носил на лошадином лице всегда и при всех обстоятельствах бесстрастную каменную маску профессионального безразличия.

Вечером, как обычно, за мной на квартиру приехал автомобиль военной полиции, я положил к себе на колени кукольную корзинку, в которой шевелилась перепелка. Шофер англичанин всю дорогу на нее косился, подозревая, что я везу нечто вроде змеи, и даже на каменном лице Хауза мелькнуло что-то похожее на интерес.

Положение мое было довольно глупое. Мне было неловко обнаруживать перед подчиненными то, что в моем возрасте, положении и при тогдашней обстановке можно было назвать совершенно неуместной сентиментальностью. Между тем я твердо решил, что спасу жизнь перепелки, хотя бы это меня и поставило в неловкое положение. Нам пришлось выбраться за город и долго ехать в кромешной тьме с затемненными по законам военного времени фарами. Доехав, наконец, по моим рассчетам до хлебных полей, я остановил машину и, забрав с собой корзинку, сошел на дорогу. Войдя в какие-то

заросли, я ручным фонарем осветил траву и вывалил в нее из корзинки перепелку. Ослепленная и ошеломленная снопом яркого света, она осталась неподвижно лежать на боку.

В этот момент, вдруг, хриплыми голосами, перебивая друг друга, в Александрии завыли сирены воздушной тревоги. Испуганная их диким звуком, перепелка встрепенулась, подпрыгнула и, столбом взвившись в воздух, мгновенно исчезла в ночном небе.

Когда я возвращался к автомобилю из него на дорогу высыпала вся моя команда, смотревшая на меня вопросительно и удивленно. Положение явно требовало объяснения.

— «Вы вероятно хотите знать», сказал я им, «зачем мы сюда приехали и что у меня сидело в корзинке? Так вот... в ней сидела птица, которая перелетела море и отдыхала у меня в гостях, а теперь я ее выпустил на волю. Вот и весь секрет нашего путешествия сюда. А теперь по местам, мы едем назад в Александрию...»

Когда автомобиль тронулся, я повернулся к Хаузу и сказал:

— «А знаете, сержант... Мне почему-то кажется, что птица эта прилетела сюда с моей родины...»

— «Это вполне возможно сэр», вежливо ответил он и прибавил после небольшой паузы: «и я хотел бы Вам сказать, сэр, что я вас понимаю...»

Он был вежливым и тактичным человеком — этот лондонский полисмэн.

Когда мы подъезжали к Александрии над городом дрожало зарево пожаров, по небу гудели германские авионы, а земля дрожала от гула канонады и на ней было очень неуютно.

ОХОТНИЧЬИ ИСТОКИ

Моими первыми трофеями охоты являлись лягушки и крысы, которых я стрелял мальчиком, получив в день своего десятилетия от отца, по традиции, мелкокалиберный карабин Франкота. В нашей охотничьей, из поколения в поколение семье этот карабин служил прекрасной подготовкой для мальчика, из которого впоследствии должен был выработаться серьезный охотник.

Детская охота с полу-игрушечным карабином не только учила нас с братом меткой стрельбе, но и приучала к хладнокровию, выслеживанию дичи и выбору удобного момента для выстрела. Кроме того, мы еще детьми приобретали практику обращения с огнестрельным оружием и усваивали необходимые правила предосторожности, чтобы не поранить ни себя, ни других, правила, которые со временем входили в кровь и плоть и, у взрослого охотника, явились как-бы второй натурой. Настоящие охотничьи ружья мы с братом получили только к шестнадцати годам, когда оба мы могли почитаться уже опытными и меткими стрелками. Система эта имела под собой серьезное основание, так как те лица, которые воображают себя охотниками без надлежащей, многолетней практики, в действительности, являются на серьезных охотах опасностью для окружающих и проклятием для дичи. Искусство подойти к зверю или птице, необходимость ясного представления о том, когда именно надо выстрелить,

меры, которые необходимо принять, если дичь ранена, в особенности, если это крупный зверь, являются необходимейшими правилами для всякого настоящего охотника. Среди людей, воображающих себя таковыми, наиболее опасными являются те, кто считает, что шикарный охотничий костюм и дорогое ружье совершенно достаточны для участия в серьезной охоте, не понимая того, что охота, как всякая профессия, требует долгой практики, и ей надо учиться с молодых лет. Настоящий охотник должен прежде всего любить природу, гореть желанием понять жизнь диких животных, жалеть и стремиться сохранить дичь для охоты. Только обладание всеми этими качествами, в соединении с искусством хорошего стрелка, делает из человека настоящего охотника. При наличии же этих качеств приключения и удовольствия охоты в течение долгих лет почти безграничны.

В имении моего отца был особый «свиной двор», отведенный исключительно для разведения и выкорма свиней. Это был большой двор, с четырех сторон окруженный деревянными зданиями, наполовину закрытыми снаружи — «для тепла» — соломой, пропитанной известью. Внутри эти помещения были разделены невысокими загородками, на отдельные закуты, в которых содержались свиньи, назначенные для откорма и продажи. На дворе же и, только по ночам, пребывало свиное стадо, состоявшее из поросных свиней и поросят разного калибра, которые днем паслись в поле.

Вдоль помещений, именовавшихся мало-поэтическим словом «свинятники», помещалось постоянно с лета до лета и безвыходно около 200 толстых иоркширов и одновременно с тем, на нелегальном положении, под полом, на чердаках и в стенах огромное, и никем конечно не считанное, число крыс, питавшихся свиным кормом.

Подарив мне карабин, отец одновременно с тем поручил мне охоту на крыс в этих свинятниках, причем, для поощрения, за каждую убитую и представленную ему крысу я получал по 2 копейки. Летними каникулами, когда я был свободен от учебных занятий в корпусе, я все дни проводил на

этой интересной охоте, убивая ежедневно по несколько десятков крыс. Охота эта, однако, была не так проста, как казалась с первого взгляда. Едва раздавался первый выстрел моего карабина — негромкий сухой щелчок, как все свиньи, крепко спавшие после дачи корма и наполнявшие своим храпом все помещения, одновременно, с испуганным храпом вскакивали на ноги, и надо было минут пять, чтобы все это свиное население успокоилось и снова уснуло. От всхрапа и испуга свиней пугались и крысы, немедленно скрывавшиеся по норам, и надо было иногда довольно долго ждать, чтобы они опять появились и принялись за месиво, оставшееся от свиного обеда в корытах. Помимо этих вынужденных антрактов, отнимавших много времени, я принужден был тщательно выцеливать мою «дичь», так как по условию с отцом, я обязан был для получения премий предъявлять трупы убитых мною крыс, за каждый же даром израсходованный патрон с меня взыскивалась копейка штрафа.

Крысы на рану были очень крепки и даже смертельно раненные они немедленно скрывались в нору. Скоро, однако, я так набил руку, что стал убивать крыс пулей в глаз и почти не делал промахов.

Мало интересуясь свиньями, которых я не люблю, я мальчиком не отдавал себе отчета в том, что откармливаемые толстухи страдали поголовно ожирением сердца и были чрезвычайно слабонервны, так что многим из них достаточно было внезапного волнения, чтобы они кончались на месте от разрыва сердца.

Летом, когда почему-то откормленных свиней для продажи грузили на телеги по одной на каждую, чтобы везти на ст. железной дороги, над усадьбой стоял невероятный свиной вопль, так как, чтобы взвалить свинью на телегу на нее бросалось сразу четыре сильных скотника, валили ее на землю, связывали ноги и затем взваливали на телегу, прикрутив к ней веревками. По дороге на станцию свиней полагалось поливать водой, во избежание, чтобы их не хватил солнечный удар, и все же, несмотря на все эти меры

предупреждения, около 5% из них приезжали на ж. д. мертвыми, погибнув, как крестьяне говорили «от жары», но в действительности от сердечной слабости и испуга. Все это я понял много позже, в первый же месяц охоты на крыс я не обращал на свиней никакого внимания, в результате чего было обнаружено две дохлых толстушки, причем, вызванный по этому случаю, ветеринар никак не мог определить причину их смерти, хотя вскрытие установило в обоих случаях разрыв сердца. Постепенно выяснилось, что даже негромкий выстрел моей франкотки до такой степени пугал слабонервных свиней, что их ожиревшие сердца не выдерживали шока и они, вскочив после выстрела, ложились, чтобы уже больше не встать.

Прятались, как я выше упоминал, после выстрела и крысы, но не от звука карабина, похожего на щелчок, а от шума, который поднимали после него свиньи. Волей или неволей приходилось и мне после этого прекращать охоту.

Через пятнадцать, двадцать лет после этого во время охот в Галиции, на Кавказе и в Туркестане, ожидая появление кабана или медведя, я часто вспоминал крысиные охоты моего детства, на которых я ожидал появление дичи с неменьшей охотничьей страстью и замиранием сердца.

АЛЕША-КАЛЕНДАРЬ

Это Русь, сермяжная,
С Господом в душе.
Голытьба бродяжная,
Сказка в шалаше...

Судьба отвела мне счастливый удел родиться и провести детство и юность в родной усадьбе. Ни в каком другом кругу старой России детвора и молодежь не пользовалась таким привольем, как мы, дети состоятельных помещичьих семей. Высший придворный класс дворянства — жил вблизи столицы, обычно проводя лето где-нибудь в Гатчине или Петергофе, где молодежь жила, стесненная этикетом этих высокочиновных мест. Молодое поколение низших классов — купечества и крестьянства, уж не говоря о горожанах, с раннего детства несло известные обязанности, помогая родителям в их ремесле. И только мы, беззаботные «барчуки» и «паньгчи» Великороссии и Малороссии были в буквальном смысле счастливым и вольным племенем.

К этому надо добавить, что, подрастая, мы с братом стали страстными охотниками, что поощрялось отцом, как наследственная и понятная ему черта, охота же в отношении свободы давала самые широкие возможности.

Ружейным охотником я стал позднее нежели псовым, что объяснялось не столько мальчишеской психологией, склонной к сильным переживаниям, сколько тем, что отец разре-

шил нам взять в руки ружье много позднее, нежели сесть на коня. Он весьма резонно считал, что сломать себе шею мы имеем гораздо больше права, нежели рисковать жизнью других. Это соображение было, как нельзя более основательно, так как в первые годы моей ружейной охоты только Божья милость да счастливое стечение обстоятельств помешало нам перестрелять друг друга. К охотничьим истокам моего детства относится начало моей многолетней дружбы и с Алешей Самойловым, крестьянским мальчиком, с которым меня свел наш земский врач. Заметив ту страсть и интерес, который я обнаруживал к птицам и зверям, он в разговоре с моей матушкой по этому предмету упомянул о том, что его поразил своим знанием природы крестьянский мальчик лет 12 из соседнего с нашим имением села Покровского. Мальчик этот сопровождал доктора на охоту и заинтересовал его, как самородок-естествоиспытатель.

Нечего и говорить, что я немедленно занялся этой увлекательной для меня личностью, разыскал его и, скоро, на почве общих интересов и охотничьей страсти, у нас возникла тесная дружба, продолжавшаяся вплоть до того времени, когда революция заставила меня навсегда покинуть родные места.

Прожив все детство и юность в деревне, мои братья и я имели самые демократические вкусы и всегда старались с дворовыми ребятишками быть в чисто товарищеских отношениях, что однако в их глазах нисколько не стирало между нами социальных перегородок. Такое положение вещей в детстве я считал для себя очень обидным и всеми силами старался его сгладить, но всегда к своей досаде наталкивался на сопротивление с той стороны, с какой этого меньше всего можно было ожидать.

Так случилось и так продолжалось за все время нашей дружбы и с Алешей, который категорически отказался раз навсегда перейти со мной на «ты», относясь к этому моему желанию с осуждением и как к явной барской блажи. То же самое отношение обнаружила ко мне и его семья, когда я

бывал у него в деревне. Приглашая сесть с ними обедать за общий стол, мать Алеши неизменно подсовывала мне вместо черного хлеба, который я всю жизнь очень любил, купленную специально для этого белую булку, с добавлением, злившей меня сентенции, «что не полагается господам есть мужицкое». Мне было очень досадно на эту вечную стенку, которая постоянно отделяла нас от привычной и близкой среды наших деревенских приятелей.

Еще хуже было когда попытки к уничтожению социальных границ нами предпринимались в отцовской усадьбе. Как Алеша, так и любой из наших приятелей деревенских мальчиков, когда их с трудом удавалось заманить в господский дом, явно чувствовали себя не на месте и никакой приятельской беседы в этом случае не удавалось наладить. Гость смущенно молчал, с опаской оглядываясь по сторонам и лишь изредка решаясь произнести несколько слов, да и то шопотом. Он явно тяготился визитом и ожидал, как избавления, когда наконец мог уйти. Часто случалось, что подобный гость, несмотря на протесты смущенных хозяев, вдрут принимался за какую-нибудь добровольную работу у нас в комнате в виде чистки ружей или охотничьих принадлежностей.

Свободнее чувствовали себя наши деревенские приятели в т. н. «Поварской», т. е. барской кухне, среди кухарок и горничных — помещении, находящемся хотя и в господском доме, но так сказать уже в разряженном воздухе. Но даже и тут, едва только разгулявшийся приятель начинал находить самого себя, как вдрут раздавался грозный окрик «поварихи» Авдотьи Ивановны, которая сама о себе говорила, «что она посередь господ вышавкалась и все порядки знает» и потому являлась блюстительницей усадебного этикета:

— «Ты что это тут расселся с барчуком рядом? . . Ай он тебе ровня?» И вся с таким трудом было налаженная интимность опять летела прахом. Даже горничные недовольно поводили носом, обнаружив в наших комнатах деревенского гостя, а по уходе его презрительно фыркали:

— «И охота вам барчуки сиволапого мужика к себе водить? Тоже гость... в руку сопли сморкает и... дух от его чижолый!»

Алексей принадлежал к местной семье однодворцев, которая по обычаю наших мест, помимо официальной фамилии, носила и «уличное прозвание» — «юнкарей», в память того, что их прадед был в николаевские времена юнкером на Кавказе. Мой приятель был младшим в семье и на охотничью страсть старшие братья и отец смотрели очень неодобрительно, считая ее за блажь, совершенно не идущую крестьянину-землеробу. Войдя в годы и женившись, Алексей, с точки зрения крестьянского круга, так «настоящим хозяином» и не стал, оставаясь в душе охотником-поэтом, посвящавшим все свободное время природе. Как отметил И. С. Тургенев, описывавший народ именно наших мест, наиболее талантливый процент крестьянства у нас шел в охотники. На Алексее это правило оправдалось, как нельзя лучше, так как он несомненно на целую голову стоял выше своей крестьянской среды, и его интересы далеко выходили за уровень крестьянской жизни.

Его знания природы были настолько любопытны, что с первых дней нашего знакомства он меня буквально зачаровал, хотя в этой области тогда я уже и сам кое-что смыслил. Однако, мои познания были больше творческими, заимствованными из книг и охотничьих журналов, тогда как Алексей получил свои из жизненной практики, почему в вопросах, интересовавших нас обоих по охотничьей части, разбирался много лучше. Знал он детально все уловки зайцев, лисиц и хорьков, способы их ловли и приручения, все обычаи и повадки птиц и всевозможных мелких зверюшек. В клетках и на поле у него жил целый зверинец, из за которого он постоянно воевал со своей семьей. Был он охотником и рыболовом изумительным, но всегда добывал и зверя и птицу своими собственными, особенными способами.

Деревенские мальчишки-сверстники, за познания Алексея в области животного царства, дали ему прозвище «кален-

даря», который в те времена для деревни представлялся чем то вроде всеобъемлющей энциклопедии.

В первые годы нашего приятельства ружей у нас с Алешей не было и в предвкушении того дня, когда я, по обещанию отца, должен был получить первое ружье, мы всецело предавались так сказать суррогатам охоты. Заключалось же это занятие в том, что мы сопровождали взрослых охотников, при которых изображали роль сверхштатных собак. Доставать из воды или болота убитую дичь, носить ее по целым часам, ползти между кустов и кочек, чтобы согнать утку или бекаса на охотника, вдыхать запах пороха, полей и лесов, словом переживать тысячу ощущений, которых никогда не поймет не-охотник, мы были готовы всегда, независимо от сезона и в любую погоду.

Живя по зимам в кадетском корпусе в Воронеже, я тосковал и страстно мечтал о деревенской жизни, с понятием о которой у меня в сознании неразрывно была связана охота и Алешка. Весной, когда начинался птичий перелет и в синем апрельском небе тянулись треугольники журавлей, а ночью в открытые окна ротной спальни доносилось курлыканье, кряканье и крики пернатых стай, летевших к Дону, я делался невменяемым, почти душевно-больным и два раза едва не убежал из корпуса.

Перейдя в четвертый класс, весной 1908 г., я дождался Петрова Дня, когда, наконец, с бешено колотящимся сердцем и с дрожью в руках вышел в луга с новенькой двухстволкой полноправным охотником. Нечего конечно и говорить, что нога в ногу со мной шел с самодельным ружьишком и Алеша Календарь. С этого дня, несмотря на побои отца и братьев, он бросил работу и пропадал со мной по целым дням в лугах и полях. Всевозможная водоплавающая и болотная дичь, как утки, гуси, кроншнепы, кулики и бекасы в дни моей молодости в изобилии водились в заливах и заводях реки Тима. Самым любимым и добычливым местом у нас считались обширные мокрые луга между двумя селами, заросшие кугой, камышем и ивовыми кустами. Здесь, по утренним и

вечерним зорям, были хорошие утиные перелеты, а среди дня можно было не спеша стрелять в заводях уток и куликов, уж не говоря о водяных курочках и прочей мелочи.

Становясь старше, мы предпринимали с Алексеем все более и более дальние поездки и охотничьи экспедиции. Одним из лучших охотничьих угодьев наших мест считались заливные луга по реке Кшепи, находившиеся верстах в 15 от имения отца и носившие название «Широкого моста». Когда мы стали уже молодыми людьми друга моего тянуло в эти места не столько изобилие дичи и прелести природы, сколько то обстоятельство, что здесь, над уютным заливчиком реки, окруженная бахчей и огородами, в тени ракит стояла одинокая избушка старушки-шинкарки. Пользуясь отдаленностью своего жилья от всяких сельских властей, бабушка эта тайно промышляла водкой, до которой Алеша-Календарь был великий охотник. Старуха, видимо, получала от своего незаконного промысла кой какой доходишко, так как не только существовала на это сама, но и кормила целую кучу сирот-внучат.

По старости, слабости зрения или хитрости, она никогда никого из своих клиентов в лицо не узнавала и потому, прежде чем получить у бабуси бутылку водки, «Календарю» приходилось всякий раз вступать с ней в долгие дипломатические переговоры, чтобы доказать чистоту своих намерений. Бабка незнакомых людей опасалась, подозревая в каждом новом лице агентов власти, с которой у нее были натянутые отношения.

Вечером, когда солнце заходило и кончался утиный перелет, Алексей всегда устраивал так, что мы неизменно оказывались вблизи бабушки-шинкарки. После некоторых пререканий и упреков в пьянстве, так как мы с братом водки не пили, «Календарь», добившись своего, тихо подходил к избушке и осторожно стучал в окно. Из него немедленно выглядывала старуха, которая начинала с Алексеем всегда один и тот-же разговор, возбуждавший наше веселье.

«Бабушка» — вкрадчиво и таинственно начинал Календарь — «нельзя ли нам полбутылочки?»

Бабка испуганно оглядывалась и подозрительно смотря на своего собеседника быстро на это отвечала: «Да ты што?.. Протри глаза, какая у меня водка, нешто я монополька»...

— «А ты бабушка, не кочевряжься»...

— «Да ты што сукин-сын!» притворно сердилась старуха, «шутки со мной шутишь, али што?»

— «Да ну, бабка, ты што меня не признаешь што-ли? Я-ж у тебя сколько разов водочкой разживался». После этих слов бабка заметно смягчалась.

— «Да ты чей же паренек будешь, я штой-то не угадываю»...

— «Да ты что, черт старый, камедь разводишь!» Не на шутку начинал сердиться Календарь. «Как это так не угадываешь, ежели я с барчуками у тебя кажную неделю водку пьем».

— «А ить-верно, голубь ты мой, верно, и выпивали и закусывали», признавалась, наконец, старуха, «ну-к штож, заходите ребятки, только в деревне глядите не проговоритесь. А то стражник, чума его задави, толстая харя... и так меня в упор уж не видит. Ну да что с меня старухи ему взять... да вот и барчуки, пошли им Господь здоровья, в случае чего бабку в обиду не дадут... ась?»

На бахче у старушки Алексей начинал энергично хлопотать по устройству ужина и разводить костер. Бабка в своей крохотной кухоньке, поворачиваясь в ней как черепаха в шайке, жарила нам яичницу с салом и, откуда-то из под лопухов уже темного огорода, таинственно приносила под фартуком, осыпанную песком мокрую бутылку, которая немедленно поступала в нераздельное распоряжение Календаря.

Было так хорошо и спокойно сидеть у костра, окруженного мраком теплой летней ночи и слушать ее голоса. Тишина и покой нарушались лишь многоголосым хором лягушек,

старавшихся в лугах, да свистом крыльев запоздавших уток, возвращавшихся в болота с хлебных полей. Здесь же у старухи мы и ночевали в какой-то крохотной на редкость уютной пуньке, на ворохе свежего сена, чтобы на заре, поеживаясь от свежести, встать к утреннему перелету.

ЗВЕРИНОЕ КЛАДБИЩЕ

В прежнее время, в охотничьей литературе трактовались некоторые до сих пор не совсем разрешенные вопросы из жизни животных и птиц, как, например, ежегодная птичья миграция с севера на юг и обратно осенью и зимой, а также вопрос о том, куда деваются трупы умерших от старости животных и птиц, которых никто и никогда не видел. Этот последний вопрос в молодости меня особенно, как охотника, интересовал, и я всячески старался его осветить путем чтения и бесед со старыми и опытными охотниками. Из этих источников я узнал, что как в Индии, так и в тропической Африке, в недоступных джунглях, существуют «звериные кладбища», куда собираются к старости умирать естественной смертью одряхлевшие звери и птицы, чтобы, ослабев, не попасть в руки хищников и самого жестокого из них — человека. Туземцы, считающие такие кладбища заколдованными местами, их избегают, в противоположность белым охотникам-промышленникам, которые усиленно разыскивают «звериные кладбища», для того, чтобы воспользоваться слоновой костью от целых поколений там умерших слонов.

В России, как мне передавали, такие места прежде были в сибирской тайге, на Кавказе у Теберды и в Литве, в знаменитой Беловежской Пуще. Когда во время первой мировой войны мне пришлось побывать в этой последней, я свел там

знакомство и приятельство с пожилым лесником, отец и дед которого служили также сторожами в Пуще. Он мне рассказал много интересного из жизни Беловежья и в том числе следующее по поводу «звериного кладбища».

— «Сам я только слышал, а не видал этого места, хотя у нас все лесники и объездчики хорошо знают, что в самой чаще Пущи находится большое болото, через которое нет для человека никакого прохода, но будто бы звери проход этот знают, и там-то и находится место, о котором вы спрашиваете. Мой отец, в молодости, по особому случаю, видел это «звериное кладбище» и вот что мне рассказал:

«Было это в престольный праздник нашей деревни, куда я ходил из сторожки в церковь. Ну, конечно, дома я выпил и по дороге заблудился на возвратном пути, хотя знал уже хорошо Пущу. И такой на меня «блуд» напал, что я три дня по лесу ходил и уже не чаял на свет Божий вырваться. Ну вот, тут-то, на второй день, и нанесла меня нелегкая на это самое кладбище. Лазил я, лазил по болоту, кругом топь невылазная и думал я, что мне настал конец. Сам знаешь, что в Пуще такие болота, что до смерти человека затягивают; много в них зверья и скота каждый год тонет, да и с бабами случается, которые за грибами ходят. Думал, что больше уже и света Божьего не увижу, как вдруг вышел я на поляну, десятин в пять окружностью, середь дремучего леса, а поляну эту со всех сторон болото обошло. Смотрю, а посередь этой круговицы озеро светится. Огляделся я кругом и жуть меня взяла: кругом от деревьев темь страшная, дрема и смрад, а кругом видимо-невидимо валежника навалено. И такой этот валежник старый да гнилой, что меня удивление взяло. Глянешь — будто дерево лежит, как есть живое и от мха все зеленое, а ступишь на него ногой, оно и развалилось трухой. Сам знаешь, иное дерево в Пуще и двести лет пролежать таким манером может. А кругом озера, смотрю, всяких звериных костей навалено видимо-невидимо, целыми ворохами лежат, белеются. Какие еще в мясе лежат, а иной зверь еще и кожей обтянут, в шерсти: видать, что недавно

лег на бок и издох. Сел я на пенек под дерево и сам не свой, сижу от удивления. И что ж ты думаешь? Пока я сидел, часа два отдыхал, так за этот срок к озеру штук до пяти разного зверья подошло. А до того вокруг озера и так их до трех десятков сидело: и лоси, и свиньи дикие, и козы, и барсуки. Иной от старости видно помирает, другой от раны, что разжился где-то и все норовят воды испить перед кончиной. И что ж ты думаешь? Тут-же и птичье кладбище оказалось, тоже видимо-невидимо сколько птицы по деревьям сидело. Не пьют ничего и не едят, а сидят рядком нахохлившись, да глаза под лоб подкатывают, пока не свалятся на землю. При мне штуки три с дерева упали, как листья осенние. Не утерпел я подошел да и поднял такого глухаря за крыло, а его и не слышно в руке, потому что в нем только обличье осталось, да перышки пустые, а сам он весь выболел. . .

«Ну потом и сам закаялся, что подошел к озеру и зверье обеспокоил, он ведь хоть и зверь прозывается, а все ж обиделся, что человек к нему в такое тайное место зашел. Совсем какие звери кончались, а как учуяли крещеную душу, так кто захрипел, кто зарычал, а какой-то медведь, я его и не разглядел со страха, нечистая сила, так взревел, что аж лес загудел, да еще сроду я того не видел, у этого медведя вся шерсть дыбом стала. Беда да и только, как напоследок взлютовались. Я вижу дело плохо, давай Бог ноги оттуда, и как из этого окаянного болота выбрался, и сам не знаю, видно Господь погибели моей не захотел. После рассказывал я про это дело старым лесникам, так те только головами покачали и говорят: «Тебя, Никита, сама Царица Небесная от беды отвела, знаем мы, что есть в самой чащице в Пуще огромное болото, но только через него проходу нету, и с покон веков все люди в нем пропадали, каких нелегкая в него заносила.

«Отец потом признался, что к болоту в Пуще и подходить потом опасался, да и я сам много раз болото видел, а кто же

его знет, то самое оно али нет, знаю только, что проходу в него никакого нету, а что в ейной середине, сказать не могу, да и никто не знает, может и теперь там «звериное кладбище» сохраняется»...

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Наш Щигровский уезд является наиболее возвышенной частью Курской губернии и поэтому служит водоразделом речных бассейнов трех различных морей: Черного, Азовского и Каспийского. Река Тим, протекавшая через усадьбу моего отца, брала свое начало около уездного города того-же имени, впадая в реку Сосну, приток Донца. Текла она, хотя и по степной местности, но вдоль всего течения сплошь тянулись большие села и деревни: Белый Колодезь, Карандаково, Липовское, Красная Поляна и Савины.

Как и большинство русских рек, она имела правый берег луговой, левый возвышенный, по которому и были расположены перечисленные села. Луговой берег представлял собой сплошь заливные луга с камышами, заводями и ивовыми зарослями. Тим — река неглубокая с тихим течением, илистым дном и мутной водой изобиловала рыбой. В ней в большом количестве водились толстые карпы, серебряная плотва, скользкие налимы, колючие ерши, слюнявые лины, окуни, щуки, караси и во множестве мелкая, но очень вкусная рыбешка, именовавшаяся по местному «пескарями».

Каждые 5-10 верст река прерывалась плотинами и водяными мельницами, по ней же, на расстоянии 15—20 верст друг от друга, были расположены помещичьи имения: Каменовых, Говорухо-Отрок, Ломанович, Шатиловых и Марковых с обширными парками и фруктовыми садами, причем

в каждом из них обязательно находились лодки для катания.

Повсюду, где река текла не по степи, берега ее утопали в плакучих ивах, которые купали свои ветви в воде, образуя местами весьма красивые уголки.

У нас в усадьбе, перед господским домом, стоявшим на горе, густо заросшей зарослями сирени, находился большой пруд, с одной стороны которого была река, его образовавшая, а с другой плотина с водяной мельницей. В двух местах этой последней были устроены «заставки», которыми регулировался в пруду уровень воды, нужный для работы мельницы. Помимо мельницы для помола, здесь же находилась и т. н. «рушка», в которой с помощью той же водяной энергии работали «толкачи», очищавшие просо от шелухи.

За мельницей река распадалась на два рукава, причем один из них, проходивший через парк, образовывал остров десятины в две размером, на котором находился фруктовый сад.

В тихие августовские вечера я любил смотреть на наш пруд с широкой, сплошь заросшей диким виноградом, терассы дома. В этот тихий час безмолвие охватывало усадьбу. Молчала вечно стучавшая мельница, не было слышно голосов людей, не слышно было ни стука колес, ни конского ржания, молчали даже собаки. Тихо в вечерней дремоте лежало перед глазами зеркало пруда, в едва заметной дымке начинающейся осени.

По воздуху, цепляясь за кусты и заросли сирени, летали длинные паутины бабьего лета. В этот предвечерний час начинали играть в пруду карпы. С шумом и плеском, нарушая звенящую тишину вечера, вырывался вдруг из воды в воздух аршинный, точно вылитый из серебра, сазан. Он подпрыгивал вверх и падал в воду, всколыхнув ее гладь, по которой широко расплывались круги. Вслед за этим у берега, где мокли ветви сирени, выпрыгивал, разводя круги, другой; третий поменьше, взвиваясь в воздухе, раз за разом бился под берегом.

Водяной спорт и в том числе рыбная ловля господствовали среди молодежи и детворы нашей усадьбы. Уженье рыбы, как занятие мало соответствующее непоседливой мальчишеской натуре, было не в фаворе. Буйное покровское рыцарство предпочитало более быстрые, а главное более динамические способы рыбной ловли, почему мы с братом и десятком ребят, живших на усадьбе, занимались рыбным промыслом на спортивных началах: бреднем, кубарями, вентерями и голыми руками.

Что такое «бредень» или повод это знает всякий, когда либо видевший рыбную ловлю; что же касается других орудий этой ловли, то в виду их местных названий, я дам о них читателю объяснение.

«Кубарь» — представлял собой большую, сплетенную из ивовых прутьев корзину конусом с двумя отверстиями, из которых в одно входила рыба, а другое, наглухо заткнутое тряпкой служило для выемки попавшей в кубарь добычи. В снаряд этот, называемый в других местах России — «вершей», для приманки клался кусок хлеба, а затем он сам крепко привязывался к длинному колу, ставился на середину реки, на дно, отверствием по течению, против которого в реках всегда идет рыба. Нижний заостренный конец кола глубоко забивался в дно реки, верхний же должен был быть невидимым на поверхности, во избежание похищения как самого кубаря, так и могущей попасть в него рыбы.

При постановке этого снаряда требовалось хорошо плавать, не бояться глубоких мест и иметь достаточно силы и выносливости, чтобы вплавь тащить за собой кубарь и, борясь с течением, забить достаточно крепко кол в дно реки. При его вытаскивании, на другой или третий день, надо было опять совершить ряд физических упражнений, начиная с ныряния в воду, чтобы отыскать невидимый шест. Приблизительно тот же способ применялся и с вентерями, отличавшимися от кубарей тем, что они делались не из прутьев, а плелись, как сетки и имели два крыла с двумя кольями.

Ловля «бреднем» или неводом всем известна: это длинная сеть с сетчатым же мешком посередине, которую заводят по течению двое или больше рыболовов, тянущие невод за его «крылья», к которым прикреплены две деревянные палки. Так как этого рода сеть всегда уже реки, то тянущим его людям обыкновенно приходится не столько идти, сколько плыть, что требует от рыболовов физической силы, выносливости и умения плавать.

Помимо добычи рыбы, описанными выше снарядами, в нашей усадьбе был и чисто местный способ рыбной ловли — голыми руками. Дело заключалось в том, что по обоим берегам пруда и речки, протекавшей на добрую версту среди садов, стояла сплошная заросль кустов сирени и плакучей ивы, ветви которых не только спускались к самой воде, но зачастую мокли в ней на добрый аршин глубиной. Эти подводные кусты, корни деревьев и засевший между ними ил и мусор создавали для рыбы, и в особенности крупной, тенистые и удобные в жаркие дни убежища. В них рыба держалась обыкновенно около полдня, пока не спадал жар. Оцепив такие кусты неводом, рыбу здесь можно было брать прямо руками, хватая ее под жабры. Ловля эта, однако, требовала известной сноровки, так как иногда полупудовый карп с такой силой рвался из рук, что сбивал с ног ловца и прорывал сеть.

В начале текущего века отец мой, большой любитель рыбной ловли, вырыл рядом с прудом большую «сажалку», сообщавшуюся протоком с рекой и загороженную стальной сеткой. Сюда были выпущены, выписанные им откуда-то караси мальки, желтые и плоские, как золотые монеты, давшие начало огромного рыбьего населения сажалки, в которой через два года караси возились в мелкой воде, как каша. Ловля здесь рыбы, однако, никого из нас не прельщала. Это было удовольствие разве только для гостей отца, — пожилых помещиков, которые с нашей мальчишеской точки зрения ни на какую удаль способны не были.

За мельницей, в двух местах, где вода с силой падала сверху и где, по словам местных стариков, жили водяные, с течением времени образовались две глубокие ямы, называемые на местном диалекте «бучилами», в которых в жаркие летние полдни луч солнца проникал в воду, дремали старые, обросшие мохом, усатые карпы, достигавшие до пуда весом и насчитывавшие не меньше сотни лет.

Молодым человеком я изобрел охоту на них пулей из винтовки, стоя на плотине и подстерегая их часами. Стрелять все же было трудно, так как вода сильно меняла контуры и отклоняла пулю от цели. Помнится, что за три года подобной охоты я убил этим способом только три рыбы, зато каждая из них весила не менее полпуда.

Водились у нас в реке кроме того в изобилии большие черные раки, жившие в подводных норах, везде где только были отвесные берега. Ловля их являлась исключительной привилегией мальчишек не старше 12 лет, так как рука людей старше этого возраста в норы не проходила. Раки больно кусались, и после такой ловли наши руки были покрыты сплошными шрамами. Иногда в рачьих норах попадались налимы, удержать которых рукой было почти невозможно, до того они были скользкими.

Раз в три года пруд спускался для ремонта плотины, которую размывали вешние воды, затоплявшие все низы и сады. Для спуска воды из пруда открывались все заставки, через которые вода быстро уходила в нижнюю часть реки, уровень которой был много ниже пруда.

Приблизительно на другой день на месте пруда обнажалось илистое грязное дно, по которому бежал лишь узкий проток. Отец в этих случаях строго следил за тем, чтобы дворня, рабочие и в особенности крестьянские бабы и мальчишки не были допущены к пруду. Без этого надзора, принимая во внимание мужицкую жадность на всякую даровщину, произошло бы немедленное истребление всей рыбы. Крестьянские бабы соседнего с усадьбой села Покровского при этой оказии каждый раз обнаруживали отвратитель-

ную и бессмысленную корысть, которую подчас не могли сдержать объединенные усилия стражников, вызываемых каждый раз по этому случаю.

В последние минуты спуска пруда, когда дно его обнажалось и оставалось лишь небольшое озерцо, сплошь покрытое трепетавшими в мелкой воде и грязи сотнями карпов, со стороны деревни начинала надвигаться к усадьбе толпа полураздетых баб и голых мальчишек, следивших горящими глазами за попавшей в беспомощное положение рыбой. Моментами толпа эта, смяв стражников, как стая голодных зверей бросалась вперед и начинала палками и камнями «глушить» трепетавших карпов, вырывая друг у друга добычу.

Надо сказать, что подобная жадность никак не могла иметь своим объяснением голод или крестьянскую бедность. Мужики у нас в Покровском, за очень малым исключением, были более чем зажиточными, а рыбы в их реке было ничуть не меньше, нежели у нас в пруду. Просто в этом случае начинали действовать обычно сдерживаемые, скверные черты крестьянского характера: жадность и всегдашнее тяготение к даровщине.

Это именно они были причиной того, что после революции начался дикий разгром культурных, дворянских имений, сожженных и уничтоженных без всякой пользы для самих крестьян. Эти отрицательные черты русского мужика не раз были отмечены в нашей и советской литературе, в произведениях Родионова и в картинках советской деревни Пантелеймона Романова.

С БОРЗЫМИ

Гей — ты, охота псовая,
Забудут все помещики,
Но ты исконно-русская,
Охота не забудешься.

Некрасов.

Русская революция, погубившая крепко насиженную жизнь и быт, навсегда покончила с псовой охотой в России и со всем, что было с ней связано. Какой бы ни стала в будущем наша родина, прежнее не вернется, не может поэтому в новых условиях возродиться и псовая охота, которая была тесно связана с исчезнувшим помещичьим бытом, навсегда сошедшим со сцены жизни.

Охотой с борзыми собаками в старину, с большим изъяном для собственного кармана, увлекались мои предки. От деда к отцу поэтому достались в наследство пять свор борзых собак, кровь которых отец в свое время освежил производителями, купленными в знаменитом охотничьем имении Великого Князя Николая Николаевича — «Першине». От великокняжеских псов у нас в усадьбе повелась, уже на моей памяти, хорошая порода густопсовых борзых, которые с 1908 г. поступили в мое владение.

Нечего говорить, конечно, что за небольшим исключением в мое время помещики-борзятники далеко отстали от своих предков в масштабах охоты и, в сущности, на старом охотничьем языке были всего только «мелкотравчаты-

ми». Так именовались прежде владельцы нескольких свор, в отличие от хозяев больших охот, насчитывавших по несколько сот собак. Тем не менее в дни моей молодости псовая охота еще широко процветала на просторе степей и полей моей родной Курщины.

Охота с борзыми более чем какая-либо другая была подчинена строгим правилам и традициям, не только в области чисто охотничьей, но и в части организационной. Прежде всего для псовой охоты необходим был обширный район действия, а именно не менее 25 кв. верст на каждую охоту. Кроме того, она нуждалась в ровной, мало пересеченной местности, степи или поля по возможности без лесов и оврагов, в которых борзые могли легко разбиться и покалечиться. Поэтому центральная и северная Россия были непригодны для псовой охоты, каковая обыкновенно процветала на Центральной Черноземной Области и южнее.

Назначение борзых собак было догнать и поймать зверя: волка, лису или зайца и задушить его не повредив шкуры. Борзая не должна была ни рвать, ни тем более есть зверя.

Огромная скорость, которую развивала, преследуя зверя, борзая собака была всегда сопряжена для нее с опасностью убиться о любое препятствие на пути. В лесу или кустарнике эти собаки были совершенно беспомощны, и искусство псового охотника в том и заключалось, чтобы выгнать зверя из укрытия на ровное место и не дать ему скрыться в лесу. Для розыска зверя в лесу и кустах, при каждой псовой охоте имелись гончие собаки, которые выгоняли его на охотника, имеющего на «своре», т. е. на привязи, каждый трех борзых, которые преследовали затем зверя.

По всем этим причинам псовые охотники были всегда конными, должны были хорошо управлять конем и крепко сидеть в седле, так как преследование зверя шло на полном скаку с частыми и неожиданными препятствиями. Если добавить к этому, что охота с борзыми происходила поздней осенью, т. е. в сезон непрекращающихся по неделям дождей, а верховая езда и скачка имели место по мокрым, скольз-

ким полям, то станет понятным, что подобная охота была сопряжена не только с опасностью сломать себе шею, простудиться, но с большими неудобствами, которые приходилось переносить по целым суткам. Псовым охотником поэтому может быть только человек, охотничья страсть которого преодолевала все это, заставляя его забыть все неудобства и опасности и гнала его из теплой комнаты под дождь и холод. Частенько поэтому многие псовые охотники-помещики по словам поэта кончали свою жизнь, так сказать, на поле чести:

«Травил зайчишек груды
И умер пьяный в поле
От водки и простуды...

В большинстве своем среди помещиков борзовыми охотниками являлись отставные кавалеристы, которым эта охота напоминала их прежнюю службу.

Период псовой охоты был очень невелик, а именно с момента снятия хлебов в конце августа месяца и до первых морозов, т. е. у нас в Курской губернии — до конца октября, почему псовые охотники так ценили и дорожили каждым днем своего короткого охотничьего сезона.

В области организационной псовые охотники должны были строго «беречь дичь», т. е. следить за тем, чтобы щенята от борзых собак не попадали на сторону, к не охотничьему населению и в особенности в крестьянские руки. Борзые собаки поэтому в мое время водились только в крупных и средних помещичьих усадьбах, не больше как в 3—5 на уезд. Владельцы их были поголовно страстные охотники, для которых на первом месте стоял сам процесс охоты и ее обстановка, а не количество добытого зверя.

Совсем другая картина получалась, если борзая собака попадала в руки охотника-крестьянина. Крестьянин прежде всего промышленник, и если бы владельцы псовых охот позволяли себе продажу или раздачу щенят, то это привело бы через несколько лет к совершенному истреблению дичи. По этой причине, в замкнутой и тесной среде псовых охотников, строго соблюдался обычай уничтожения всех лиш-

них борзых щенят. Тщательно надо было также следить и за тем, чтобы не было скрещивания борзых с другими породами собак, что иногда, хотя и редко, случается. Породистая борзая никогда сама без охотника в поле не выходила, зато продукт ее скрещения — ублюдок борзой поголовно были страстные и самостоятельные охотники, не только не нуждавшиеся, но и тяготившиеся руководством человека. Эти полукровки были способны целыми днями, хотя и безуспешно, гоняться за лисицами и зайцами, отчего зверь немедленно уходил из того беспокойного места, где заводился на общее несчастье подобный пес. За все существование на моей памяти псовой охоты я не помню случая, чтобы у нас или у братьев Михайловых, наших товарищей по охоте, была упущена на сторону хотя бы одна собака. Зато между нашими усадьбами, отстоявшими друг от друга в 15 верстах, был постоянный обмен собаками для освежения крови.

Оба брата Михайловы были крупные и сильные люди, страстные охотники, причем эта страсть доходила у них до крайнего предела. Затравив зверя, они на всем скаку, без всякой на то надобности, бросались прямо с коня на землю в кучу собак, так как у них от азарта не хватало терпения остановить лошадь и сойти с нее. Едва переводя дух, отшибленные при падении, они вставали на ноги, трясясь словно в лихорадке. Глядя на них, налитых кровью и едва дышащих, мне всякий раз казалось, что если не один, так другой из них умрет когда-нибудь на охоте от удара.

Опишу ниже небольшую картину охоты с борзыми, со всеми переживаниями и ощущениями, какие я перечувствовал во время моей счастливой юности, в родных местах на далекой теперь от меня Родине.

Тихий стук заставил меня очнуться от крепкого утреннего сна. В окно еще смотрела темная сентябрьская ночь. Быстро одевшись в теплую верблюжью поддевку и высокие сапоги и накинув бурку, я, стараясь не шуметь, вышел из теплого спящего дома и, вздрагивая от сырости, направился

в конюшню. Накрапывал мелкий осенний дождь и предутренний ветер гнал по небу низкие серые тучи. Над темными силуэтами усадебных построек еще стояла сырая и холодная осенняя ночь, кругом был серый мрак и только из полуотворенной двери конюшни виднелся тусклый свет лампы. В полутьме в ней двигалась длинная тень кучера Алексея, моего кума и такого же, как и я, страстного борзятника. Он, молча, неторопливыми движениями, седлал стучавших по земляному полу и фыркающих коней.

В конюшне тепло и приятно пахло навозом, кожей, сеном и лошадиным потом. Из глубины ее шел ровный хруст жевавших корм лошадей. Редкие постукивания копыт по дереву и позванивание удил были единственными звуками среди ночного молчания и окружавшего мрака.

На ворохе светлой соломы, доходящем почти до потолка, лежали борзые, нежно потягиваясь. Они явно нервничали, как всегда перед охотой и следили за людьми блестевшими в темноте глазами. С верха соломенной кучи, ко мне прыжками соскочила моя любимица, красавица Ласка и, загремев ошейником, поднявшись на дыбы, лизнула меня в щеку.

С Алексеем мы почему то говорили вполголоса. Сонный кучеренок, наконец, открыл нам ворота и сначала я, на моем кабардинце «Черкесе», а затем Алексей выехали на двор по деревянному настилу, окруженные повскакивавшими на ноги борзыми. На дворе меня охватило ощущение непроглядной тьмы и мокроты холодного погреба. Непривыкшие еще ко мраку глаза ничего не различали на вершок от собственного носа. Над мокрыми вершинами деревьев едва проглядывала цветная полоска неуютного осеннего утра.

Под ногами коней тяжко захлюпал раскисший от недельного дождя жирный чернозем дороги. Пока мы выезжали из усадьбы в поле, по широкому проезду между двумя черными стенами деревьев, глаза стали различать постепенно предметы и, в первую очередь, шею и уши коня. Когда, наконец, мы выехали на большой шлях и остановились, над

полями стояла мертвая тишина и слышался лишь ровный шум мелкого, но частого дождя.

«Ну что же, кум, куда сегодня двинемся?» — спросил я Алексея, сошедшего с седла и собиравшего на своры собак.

«Да придется должно быть по тимскому рубежу тронуться. Говорили мне, надысь, возчики, что спирт везли, будто видели они двух лисиц над оврагом».

У обыкновенного человека, почему-либо попавшего рано утром в осенние мокрые поля, тоскливо сожмется сердце от печальной и унылой картины, готовящейся к зиме природы. Бесприютно и жутко в черном осеннем поле тому, кто его не знает. Сырой, тусклой пеленой придавили мокрую землю низкие облака, скучно и низко несущиеся над головой. Едешь в поле, не глядя на небо, и тебя охватывает и наполняет лишь шумный и неуемный ветер осени. Гудит беспрерывно в ушах без устали, выдувая из головы все мысли и возбуждая тоску...

Далеко, однако, не то чувствует осенью псовый охотник. Грязная и мокрая осень — лучшая пора для охоты с борзыми, и из всех времен года в России я любил именно такую дождливую и сырую осень, с которой навсегда в моей памяти связаны жгучие ощущения звериной травли...

Завернувшись в бурку и башлык, едешь без дорог, поперек мокрых, нескончаемых полей, вдали от всякого жилья, и в ушах гудит несмолкаемая песня ветра, под которую вместо уныния проникаешься терпкой и суровой бодростью. Ноги коня то легко ступают по жнивью, то тяжело разъезжаются по жирной пахоти. Поматывая головами и фыркая кони поднимаются на пригорок. На тугом натянутом ремне своры, позвякивая кольцами ошейников, рысят собаки, расчетливо и легко перепрыгивая препятствия. Вдали, в серой сетке дождя, виднеется конная фигура Алексея с широким серым пятном собак у ног лошади.

Сегодня мы без гончих в две своры ищем зверя «в наездку». Охота эта заключается в том, что охотники, разъехавшись на десятину расстояния друг от друга, шагом двигают-

ся по одному направлению, осматривая все подозрительные ложбинки, межи и бурьян, где может залечь заяц. Подъехав к такому месту, охотник арапником или криком заставляет зверя сняться с места и травит затем его собаками.

До больших оврагов, места лисьего гнездования, мы ехали полчаса. Алексей двинулся по верху лохматой от бурьяна балки, я по низу, внимательно вглядываясь в размытые вешними водами бока оврага. Сквозь стальную синь голого и редкого дубняка, росшего по склонам оврага, была видна четкая, словно нарисованная тушью на сером фоне фигура Алексея, его коня и собак.

«Лисица... берег-и-и!» вдруг рявкнул он исступленным, диким голосом и тяжело поскакал вдоль оврага. Под гору навстречу мне, скользя по мягкой земле, быстро спускалась красновато-темная с пушистым хвостом лисица. Легко перепрыгнув промоину, она кошачьими прыжками понеслась вдоль оврага. Я указал на нее собакам, закричал и спустил их со своры. Сбоку под обрыв, охватывая лису полукругом, неслись под гору три борзые Алексея, стараясь отрезать зверя от зарослей кустарника в конце оврага. Сам кум, не спускаясь вниз, скакал по верху, карауля выход лисицы из балки. Его конь, утопая в размокшей пахоте, далеко разбрасывал задними копытами огромные комья земли.

Лисица, вильнув под носом собак, выскочила из оврага и, сопровождаемая шестью борзыми, скрылась из моего поля зрения за его краем. Когда на тяжело храпевшем от усталости Черкесе я наконец выбрался наверх, лисица красной полоской мелькнула по пахоти. Сливаясь с землей плыли за ней в бурьянах собаки, а далеко сзади, полосуя нагайкой коня, скакал Алексей.

Глаза застилали слезы, уши резал свист рассекаемого ветра, вспотевший конь остро пахнул потом. Пока я тяжело доскакал на покрытом клочьями мыла Черкесе до первых кустов березняка, ни лисицы ни собак уже не было видно. Земля налипала на копыта, брызги грязи выпачкали с ног до головы мне лицо, одежду и лошадь.

Обогнув шагом лес, я неожиданно, к своей радости, увидел среди мокрого жнивья спешенного кума, нагнувшегося над тесной кучкой собак, звездой толпившихся на месте. Когда я подъехал к месту происшествия, потный и красный, как после бани, Алексей шел мне навстречу, ведя в поводу дымящегося коня. С широкой, торжествующей улыбкой, он поднял за задние ноги огромную, почти чернобурую лисицу, с загнувшимся на сторону пышным и пушистым хвостом. Кругом лежали и стояли борзые тяжело дыша, низко вывалив длинные языки. . .

ЗИМНЯЯ ОХОТА

Осень у нас в Курской губернии кончается железными сухими морозами. Застывшая в чугун грязь дороги сбивает подковы и перебивает пополам даже железные шины колес. В это время устанавливается по дорогам, так называемая, «колоть», когда невозможно выехать ни на санях, ни на колесах. На бурых полях и овсяных жнивьях начинают попадаться в это время необычайные русскому полю фигуры верховых...

Жестокий холодный ветер не перестает дуть с севера через пустые, почерневшие поля, сбивая последний лист, изгоняя последнюю птицу и наводя тоску на душу человека. Скотина больше не выгоняется в поле, оно опустело и безлюдно и только серые бурьяны на межах одиноко колышатся по ветру... Высоко в холодном воздухе тянутся на юг журавли; не спеша машут своими большими крыльями, вытянувшись один за другим треугольником.

По неизменной примете наших мест, снег выпадает никак не позднее Михайлова дня, то есть, к восьмому декабря.

Пусть даже накануне еще ездили на колесах, ночью под «Михайлу» обязательно ляжет зима. Проснувшись утром, повеселевший люд в светлом окне увидит густую, пушистую порошу. В незабываемую для меня осень 1910 года, которую я целиком провел в родной усадьбе, после Михайлова дня холод стал крепчать, подвалило снегу и на пушистых ого-

родах и садах, через занесенные по маковку плетни, веселой мережкой легкие стежки заячьих следов и аккуратная тропа лисицы. Высокими столбами стали над усадьбой и окрестными деревнями дымы и, вокруг кучек рассыпанной по дороге золы, закричали налетевшие к жилью грачи. Синей лентой потянулся из усадьбы в снежные поля санный путь зимней дороги.

Одиноко и серо стоял наш дом среди голых вершин деревьев, занесенных снегом. За домом серою стеной виднелись оголенные поля и деревья сада в коричневых шапках покинутых грачиных гнезд.

В эти давние дни помимо охоты с ружьем на зайцев «по пороше» начиналась у нас езда с борзыми по зимнему. В деревенские сани-розвальни, запряженные одной лошадью, укладывались на солому полдюжины собак, их закрывали ковром или полостью и охотники выезжали в покрытую снегом степь.

В бинокль или простым глазом, оглядывая окрестности, мы с Алексеем ехали без дорог, целиком по полю, ища вдали на горизонте снежных полей «мышкующую» лисицу, или крепко лежащих «на спячках» при морозе зайцев. Лиса, занятая ловлей мышей, видна простым глазом за добрую версту из-за своей яркой на снегу шубы. Чуткий и сторожкий зверь, не допускающий к себе даже издали пешего и конного человека, весьма равнодушно относится к привычному для него виду крестьянских саней, подпуская их к себе иногда на несколько шагов расстояния. При этой охоте нужно только избегать направлять сани прямо на лисицу, а приближаться к ней круговыми движениями, так, чтобы сани были всегда боком к лисице, которая хотя их и не боится, однако внимательно за ними следит. Когда, наконец, сани находятся от зверя на близком расстоянии, охотник быстро сдергивает полость с крепко спящих и угревшихся под попоной собак и, указывая им на лисицу, травит ее. Борзые обыкновенно, точно сдутые ветром с саней, бросаются

на лисицу, которая не успевает пробежать и нескольких саженей по глубокому снегу, как бывает поймана.

Снежная, белая пустыня, по которой ездишь, бывало, на этой охоте целый день, бывает скучновата и утомительна для глаз ярким снежным блеском, почему обыкновенно я, выехав с Алексеем из дома, сейчас же укладывался в санях поверх собак, пока мой спутник не «подозревал» вдали мышкующего лиса или залегшего зайца, на что он был большой мастер.

Опыт требовал при этой охоте одного лишь условия, — не брать собак на свору, так как во сне они могли перепутать ремни и, соскочив с саней, могли передушить друг друга, или, еще хуже, — стащить с собой охотника, который держит свору. Это однажды и случилось с моим отцом, который застудив себе пальцы, намотал ремень на локоть и был стащен собаками с саней в снег, несмотря на его семь пудов весу. Открытыми собак на санях тоже нельзя было оставлять, так как от холода они никогда не стали бы лежать спокойно, да и кроме того, зазрев зверя, никогда не дали бы к нему подъехать в меру, уж не считая того, что лисица, увидев собак издали, удрала бы раньше времени.

В упомянутую выше зиму 1910 года нам удалось затравить в сильный мороз огромную лисицу, на редкость удачно подъехав к ней почти в упор.

Я, как всегда, заснул на санях, прикурнувши в теплой дохе к груде спавших под ковром собак, засунув при этом замерзшую ногу под ляжку кроткой суке Славке, как вдруг был неожиданно разбужен бесцеремонным толчком Алеши Календаря, который на охоте терял всю свою почтительность к «барчуку» и в азарте позволял себе многое, за что я, впрочем, хорошо понимая его охотничью страстность, никогда не обижался.

Поеживаясь и вздрагивая от стужи, взявшей в тиски сердце, я открыл глаза и сквозь намерзшие слезинки, блиставшие радужным разноцветом, увидел холодное, зимнее солн-

це и белый простор безмолвного снежного поля вокруг, свинцовое серое небо над ним и на белой вершине холма рыжую с огненным отливом лисицу. Она мышковала и то становилась на дыбы, то прыгала, припадая на передние лапы, рыла ими снег, временами окутывавший ее сияющей пылью. Роскошный ее хвост мягко метался вверх и вниз, ложась на снег красным языком пламени.

На нас лис, как будто, не обращал никакого внимания и только тогда, когда сани подъехали к лисице на десять шагов, она оставила, наконец, свое занятие и, спокойно усевшись, стала нас рассматривать с любопытством, но без тревоги, склонив на бок свою ушастую, острую морду.

Дальше ждать было нечего и я, давно уже державший в руке один из углов ковра, одним взмахом сорвал его с собак и, указав им на лисицу, заулюлюкал. Сладко спавшие борзые, взметнулись от крика, как на пружинах и, сорвавшись горячей грудой с саней, обдали меня запахом псины и целым облаком снега.

Бедный лис успел лишь подпрыгнуть на месте от изумления и был тут же растянут собаками на изрытом им пригорке.

Он оказался самцом необычайной величины, самым большим экземпляром, какой мне пришлось увидеть. Спина и бока у этой лисицы были почти черные с проседью, очень темной была и морда сверху. Впоследствии, на Кавказе, в Турции и Египте мне приходилось видеть тамошних лисиц, которые всегда меня удивляли своим дешевым, рыжим мехом и мелким ростом, так резко отличавшихся от наших степных лисиц, бывших величиной с хорошую собаку и с прекрасным темным мехом. Крупной величины у нас в Курской губернии были и зайцы-русаки, достигавшие 25—30 фунтов живого веса.

К Рождеству, когда снега становились слишком глубокими, и охота с борзыми прекращалась до следующей осени, охотники наших мест переходили на охоту ружейную. Зай-

цы и лисицы, уж не говоря о куропатках, в эту пору начинали жаться к человеческому жилью, так как в поле и степи им становилось трудно добывать корм. В это время все сады, гумна и огороды покрывались вокруг усадьбы сетью заячьих следов. С вечера и до рассвета русаки приходили кормиться на гумна к овсяным скирдам, сохранявшимся всю зиму для корма скота. В лунные, светлые ночи около Рождества мы садились в засаду к скирдам и стреляли подходящих к нам косых. Несмотря на кажущуюся простоту, эта охота требовала известной сноровки и опыта, а главное, уменья выбрать для засады подходящее место. Лучше всего для этой цели служили одиноко стоявшие в поле или на окраине гумна овсяные скирды, вокруг которых были не только свежие, но и давние заячьи следы, указывавшие на то, что зайцы привыкли к этому месту и являются сюда на кормежку каждую ночь, а не случайно. Следовало, кроме того, охотнику сесть так, чтобы его силуэт не рисовался на фоне неба или снега и не был виден зайцами, для чего лучше всего было садиться спиной к стогу. Во время охоты, кроме того, нельзя было двигаться и даже шевелиться, так как всякого движущегося предмета ночью зайцы боятся, а звук в морозную ночь слышен издали. Это условие самое трудное, так как в холодные, зимние ночи, не двигаясь легко заснуть и можно замерзнуть во сне. Во избежание шороха соломы охотнику необходимо также подстилать под себя попону.

Как бы ни была ясна лунная ночь и как бы не казалось, что «видишь, как днем» — это самообман, так как даже на снегу лунного света недостаточно, чтобы различить мушку на ружье, и потому стрелять на «заседках», как называется этого рода охота, приходилось исключительно по стволу ружья.

По вечерам, у горящего камина охотники любят рассказывать о разных приключениях, которые с ними бывали на охоте, причем эти рассказы часто касаются разных необыкновенных случаев, а иногда и таинственного, что могло почу-

диться охотнику одному, вдали от всякого жилья, в неверном лунном свете.

Случилось нечто похожее на это и со мной, причем видение, которое я видел наверняка спасло меня от большой беды, если не от смерти. Было это в 1911 году, накануне Крещенья. Решив идти на заседки в далекий луг, где у нас зимой стояли два овсяных скирда, я вообще ничего не пьющий, «для тепла», глотнул большую рюмку крепкого коньяка и пройдя на место, приткнувшись к стогу, стал ждать зайцев, следы которых виднелись вокруг. Незаметно для самого себя я задремал в теплой лисьей шубе...

В полусне мне почудилось, что из лунного света ко мне подплыла по воздуху какая-то прозрачная белая фигура, которая, дотронувшись до моего плеча, слегка его потрясла и сказала: «Иди домой»...

Почему то в этот момент я ясно сознал, что это была моя покойная нянька Мария Григорьевна, хотя к этому времени я уже ни ее голоса, ни лица больше не помнил.

Очнулся я от ощущения, что у меня горят ладони. Было необыкновенно тихо в воздухе, и снег сверкал под луной тысячами блесток и искр. Ружье, несмотря на две пары теплых перчаток, жгло мне руки. Я положил его на колени, но немедленно стало холодно и коленям, и я почувствовал сразу озноб во всем теле. С трудом поднявшись, точно со скованными движениями, положив ружье, не имевшего ремня, на плечо, я пошел в усадьбу. По дороге, на ходу, мне удалось согреться, но двустволку пришлось все же бросить в снег, так как ее буквально невозможно было держать не только за металлические, но даже за деревянные части, которые жглись точно огнем. Добравшись до дома, я первым делом бросился к термометру, прибитому у нас за окном столовой, и только тогда понял в чем дело. Пока я дремал у скирд в поле, мороз, бывший с вечера градусов 12, поднялся до 30 и, не разбуди меня видение няни или холод ружейных стволов, я наверное бы замерз на смерть.

ЗВЕРИНЫЕ ПАСТЫРИ

Сторона ли моя сторонушка,
Вековая моя глухомань...
И. Бунин

В нашей Курской губернии, как и в других местах России, где мне приходилось охотиться, среди народа крепко держалось предание, что у всякого зверя и птицы существуют свои собственные князья или «пастыри». Этот факт подтверждается и серьезной охотничьей литературой, как например, «Записками охотника Оренбургской губернии» С. Аксакова и «Воспоминаниями охотника Восточной Сибири» — барона А. Черкасова.

У моего деда в имении, на покое, жил древний егерь Ильич, которому во время моей юности было уже 90 лет. Это был опытный охотник, много видавший и много переживший, который рассказывал мне о старых временах и охотах. От него я впервые услышал, что у медведей, волков, лисиц, мышей и птиц имеются свои «пастыри», которые учат их, как жить на свете, кормиться, переходить с места на место и спасаться от беды.

Самому Ильичу, по его словам, пришлось встретить в жизни волчьего, медвежьего и вороньего князей. Вороний князь меня не интересовал, что же касается двух других, то вот, что рассказал мне, тогда только начинающему охотнику, старик:

«Случилось это в Литве, где я с моим барином — вашего папаши дедом, стояли с полком. Жил в тех местах тогда богатый граф Тышкевич, вроде как бы царька мелкопоместного. И вот, однажды, когда подошли его именины, пригласил он к себе по этому случаю моего барина с другими господами. Съезд у него в этот день был со всего округа, а на другой день была назначена большая охота. Леса у Тышкевича были заповедные и не то, что охотиться в них или рубить, а даже за грибами баб и то в них не пускали.

«Собак борзых и гончих собралось с гостями-помещиками штук до тысячи. С утра окружили лес, в котором графский доезжачий волков ночью подвыл, и пустили в него гончих. Не успели сделать напуск, как собаки захватили и сразу повели «по зрячему». Ить вам известно, барчук, что волки не любят в лесу долго кружиться, идут сразу в поле, а тут слышим, и час, и полтора гонит стая по лесу, а дальше никуда. Что думаю это значит? Что-то не спроста, уж какая-нибудь оказия да должна оказаться. Глядь, а из опушки сам графский доезжачий выскакивает, а на нем и лица нет... кричит, что в беду попали: стая на самого «волчьего князя» наперлась. А он уже с дюжину покалечил, а в поле не выходит... да еще позади собак кругом по своему следу бегает и давит отсталых.

«Ну, конечно, тамошние охоты не с нашими сравнить, послали в лес еще четыре стаи и пошла потеха. Стоим мы с барином моим на лазу и слышим, что гон то вплотную к нам подходит, то совсем из слуха выпадает. Вдруг, подают сигнал рогом «береги!», и в ту же минуту супротив нас, на чистом поле, вся стая из леса вывалилась и в голос ревмя-ревет. А впереди, смотрю, какое то невиданное чудовище. Собой этот зверюга почти белый, не в меру лохматый, а бока у него и живот красноватые. Велик же был, упаси Царица Небесная!

«Сами знаете, наши степные бирюки какие, а и то перед ним малыми щенятами покажутся. Это-то и был волчий

князь, а что собак он загубил в эту охоту, страшно и вспомнить. Кинули на него охотники со всех сторон поля свои своры, аж поле почернело. Был бы простой волк в ту же минуту его бы борзые растянули, а тут самые приемистые кобели поставили уши торчком, передами прыгают, а на зады оседают. Охотники им «улю-лю!.. улю-лю!», а они не берут. А волчище, как сатана, сидит на заду, да зубами кляцкает, как ножами, а лоб у него такой, что между ушами аршин уляжется.

«Подскакали охотники, сам пан Тышкевич, травят, улюлюкают, а собаки ни с места... Волк сидел, сидел, отдохнул, да и попер лбом прямо на собак, те так и раздались на две стороны. Ну, тут в угон ему лучший кобель Тышкевича «Грубиян», впился волку в правое ухо мертвой хваткой. Лязгнул волчище зубами, подхватил собаку словно на крюк за пах и сразу ему черева на землю вывалил. Однако, тут еще два кобеля вцепились волку в гачи, а там и другие навалились. Ворочается волчище под этой кучей, зубами лязгает и, верите или нет, а семнадцать собак насмерть покалечил... Ну, однако, против стаи никакая сила не помогла, растянули его, и сам Тышкевич с коня слез, чтобы его принять. Второчил, конечно, тогде же ножик под лопатку и кончил с ним.

«Ну, справился с волчьим князем, а там оказалось, что двое охотников в лесу пропали: один разбился насмерть вместе с конем, а другой в болоте захлебнулся. Старые лесники сказывали, что без человеческой крови да без беды такого дела никогда не бывает. Потому то этим звериным князьям и показано не выходить на свет Божий более одного раза в сто лет. Так, барчук, извините меня, в старину говорили, а теперь уж и не знаю, правда ли это или нет»...

— «Дедушка, Ильич, а вам еще на своем веку не приходилось видеть чего-нибудь интересного по части звериных пастырей?» продолжал допытываться я.

«Приходиться-то приходилось, барчук, но только уж тут в Рассее, когда мы с барином-покойником после службы к

себе в брянскую вотчину вернулись. Ну, что-ж тогда наши места много лесистей были, чем теперь, Ну, вот, охотились мы недалеко от Сосновки. Хорошие и дремучие были там леса и сосна росла не простая — красная — «лутица». А надо вам сказать, что перед этой охотой руку я ножом порезал, так что ружья нельзя было в руки взять, да и дома тоже оставаться не приходилось. Барин, Царство ему Небесное, не любил без меня охотиться. И порешили мы с ним, что буду я заправлять на охоте кричанами. Выравнял я их в цепь, указал, что делать, а сам остался на конце крыла. Пробираюсь это я себе потихоньку и слушаю, как кричане орут и думаю: сатана и тот из леса убежит от такого шума. Глянул невзначай наверх, а на макушке сосны огромный-преогромный медведь сидит — спасается, но только медведь не простой, а такой преужасно большой, что я глазам своим не поверил.

«И тот медведь был весь белый с небольшой только желтинкой. Ну, думаю, это недаром Господь меня сюда одного навел, значит не пришло время этому пастырю жизни лишиться. Вышел я на полянку, смотрю на него, да удивляюсь, как только дерево держит такую махину. А лукавый меня все подмывает: «закричи!.. закричи! зови стрелков». Однако, перемогаюсь, стою на месте и молчу. Уж и облава вся мимо меня прошла и... только было собрался я крикнуть — глядь, медведь поднял правую лапу, да словно и погрозил мне с дерева — «иди, дескать, добрый человек с Богом, так-то дело будет лучше и для меня и для тебя!»...

— «Что-ж, батюшка, каюсь согрешил я тут — обманул я своего господина — смолчал, да и после никому ни слова не сказал об этой оказии. Правда, и охота наша была в тот день удачлива — битого зверя девать было некуда. Видно, что сам медвежий князь постарался для меня заместо благодарности. Да и меня самого Господь после тоже взыскал.

«И года не прошло, тоже по осени, пришлось мне опять быть в том лесу на пчельнике и ружье со мной было двух-

ствольное. И сколько я из него не стрелял до того, ни разу не осекалось. Вот иду я по лесу, да и вспоминаю медвежьего пастыря. А уж вечерело, глянул я, прямо передо мной, из-за кустов и поднимается что-то белое... выше да выше — смотрю пастырь медвежий самый тот, которого я от беды отвел. Только тут, как поднялся он на задние лапы, показался он мне еще больше и страшнее. Чисто душа у меня оборвалась и шапка с головы вверх полезла. А уж он совсем надо мной стоит, да как рявкнет, словно громом ударило, а у меня словно мороз промеж плеч прошел. Скинул я ружье, нацелился ему в левую грудь, да оба курка и спустил сразу Слышу «тик-тик» — осечки, подломились тут подо мной ноги, вспомнил я отца, мать и весь свой род-племя и жду смерти... А пастырь подошел ко мне, пригнул голову, словно присматривался, рявкнул еще разок, так что подо мною земля дрогнула, да и пошел себе в лес на задних ногах, переваливаясь, а сам в потемках белеется в пол-дерева стоячего. Отошел сажен на пять, повернулся опять ко мне, да и махнул лапой. Ни дать, ни взять, как в тот раз, когда он на сосне сидел, дескать : ««ты добрый человек тогда меня не тронул, таперича я тебя не трону — ты меня не выдал, а я тебя. Так дело у нас и кончилось».

После этого рассказа старого егеря минуло десять лет, а сам он уже покоился на нашем деревенском кладбище, когда вокруг усадьбы по всему округу распространился слух, что в Дурневской степи появился «заячий князь». Дурневская степь, хотя и давно распаханная, представляла собой кусок земли в 20 кв. верст, на котором не было ни одного человеческого жилья. В нескольких местах ее перерезывали глубокие овраги, густо заросшие дубовыми кустами, в которых водились волки и во множестве жили лисицы и зайцы.

Громадного зайца, которого народная молва окрестила «заячьим князем», встречали в этих местах несколько лет подряд, как крестьяне, работавшие в полях, так и многие охот-

ники с борзыми. От этих последних он уходил словно насмехаясь, оставляя далеко позади себя, как «стоячих» лучших собак. Встретил его раз и я вместе с моим неизменным товарищем по охоте и кумом Алексеем-кучером, но так как это случилось в туманный и сырой осенний день, то мы отнесли необыкновенную величину зайца к оптическому обману, обычному в тумане, который, как известно, увеличивает предметы.

Судьба, однако, свела меня с заячьим пастырем еще раз и в момент, когда я этого меньше всего ожидал. Было это на Рождестве 1912 г. в сезон так называемой «охоты на засидках», когда глубокие снега заставляют зайцев жаться к человеческому жилью, так как на полях они не находят больше себе пищи. С вечера и до рассвета, в лунные ночи, они приходят кормиться к овсяным скирдам, сохранившимся в наших местах на зиму для корма лошадей. Здесь косых и стреляют из засады охотники.

Решив в этот день итти «на засидки» в далекий луг, где у нас зимой стояли овсяные скирды, я вышел около десяти часов вечера тепло одетый и в двух парах теплых перчаток. На дворе стоял мороз, но я его не чувствовал, согревшись на ходу. Придя на место, я приткнулся к омету, укутался в принесенную с собой доху и незаметно для самого себя задремал. Проснулся я, как от толчка, потому, что у меня горели как в огне ладони, которые нестерпимо жгли стволы ружья, охлажденного морозом.

При неверном свете луны, блестевшей на снегу миллионами отражений, я увидел шагах в пяти, как мне показалось, какого-то крупного зверя. По началу, я принял его за собаку, но, вглядевшись пристальнее, рассмотрел заячьи уши и морду. После выстрела заяц резко крикнул, подпрыгнул и резво помчался в поле, показавшись мне на бегу еще больше ростом, чем раньше. Я послал ему в догонку заряд из другого ствола и через полчаса, застрелив другого зайца, встал, чувствуя, что больше не в состоянии терпеть холода.

Было около полночи и в воздухе стояла совершенно необычайная тишина. По дороге мне пришлось бросить в снег ружье, не имевшего погона, так как его было невозможно держать в руках от холода. Вслед за ружьем бросил я по дороге и доху, так как у меня не хватало сил ее нести, и я чувствовал, что на ходу замерзаю.

Утром Алексей, посланный разыскивать мою двухстволку и доху, вызвал меня в конюшню и таинственно указал на лежавший на лавке полусъеденный собаками труп огромного зайца. Разыскивая мои брошенные ночью в снег вещи, он нашел убитого мною зайца недалеко от овсяного стога, благодаря собакам и вившимся над трупом воронам. Несмотря на то, что зайца оставалась лишь передняя часть, я не поверил своим глазам — до того его голова и туловище были велики. Изжелто-белый русак был весь в каких-то желваках и шишках и в целом виде несомненно был ростом со среднюю собаку. Половина его обгрызанного трупа вытянула на весах 23 фунта.

Как Алексей, так и я сам были убеждены в том, что это был несомненный заячий князь, которого морозы и снег выгнали из Дурневской степи. В тот же день исполнилась и народная примета о том, что смерть звериного пастыря приносит беду охотникам: я отморозил ночью два пальца, которые дают себя чувствовать до сегодняшнего дня, а кроме того потерял ружье и доху, которые совершенно необъяснимо исчезли, несмотря на все поиски. Удивительней всего было то, что это исчезновение ничем нельзя было объяснить, так как кроме одних моих следов на снежном поле между овсяными скирдами и усадьбой ничьих других не было.

Должен добавить, что после этого дня никто и никогда больше не встречал ни в Дурневской степи, ни в других местах «заячьего пастыря», что подтвердило полностью наше с Алексеем предположение о том, что заячий князь Дурневки случайно подвернулся под мой выстрел.

НАШИ МЛАДШИЕ БРАТЬЯ

В Тульской губернии, по берегам реки Исты, притока Оки, вдоль берегов этой последней, тянутся обширные луга, изобиловавшие в мое время дичью. Однажды, мой приятель-охотник, увидев на реке стайку уток, подплывших к самому берегу, долго крался к ним по высокой осоке, и, когда выстрелил, то оказалось, что, кроме двух уток, он убил выстрелом также кравшуюся в свою очередь к ним лисицу, которая в момент спуска курка прыгнула на ближайшую к ней утку.

Один мой приятель-охотник, весной, найдя гнездо воронов, взял из него одно яйцо, которое дома подложил под курицу-наседку. Когда из него вылупился вороненок, он стал, естественно, самым прожорливым из всего куриного выводка, но, несмотря на это, курица его обожала и предпочитала собственным цыплятам. Вороненок, подрастая, сделался ручным и настолько полюбил своего хозяина, что постоянно сидел у него на плече, когда последний выходил из дома, и не хотел с плеча сходить. В те дни, когда его хозяин выезжал куда-либо из дома, ворон взлетал высоко в небо и там парил до возвращения хозяина; тогда он падал камнем из поднебесья и усаживался к нему на плечо, хотя бы ему пришлось дежурить в небе весь день.

. Однажды лесник принес нам в дом в собственной шапке только что родившегося волчонка, которого мы сначала воспитывали соской, а затем на вареной пище, никогда не давая ему ни костей ни сырого мяса. Волчонок рос, жил со щенятами и был с ними, как равный, относясь одновременно с тем очень ласково к людям, которых никогда не кусал. Однажды весной я имел неосторожность пойти с ним гулять в луга, где протекала река, а за ней начинались большие леса. Волчонок, увидя лесную чащу, поднял голову и долго вдыхал в себя запах леса. Наконец, призыв родной сферы и природы стал для него так велик, что, взглянув на меня, он тоскливо провыл, точно прощаясь, а затем бросился в реку, быстро ее переплыл и, не оглядываясь, помчался в лес, подтвердив народную поговорку, что «как волка ни корми, он все в лес смотрит».

Через три месяца после этого знакомый мне лесник рассказал, что однажды утром на поляне в лесу он увидел моего волка, который был уже с волчицей. Зная, что волки являются однолюбами и остаются верными своей паре на всю жизнь, лесник, не надеясь убить двух с одного выстрела, пожалел молодую пару и не стал по ним стрелять.

Летом 1909 г. в Белевском уезде Тульской губернии, в большом казенном лесу, тянувшемся на многие десятки верст и носившем название «Романовской рощи», к ужасу окрестных деревень, пóявился... лев. Его видели многие крестьяне и бабы, работавшие около леса, причем зверь нападал на телят и жеребят и, на глазах ошеломленных крестьян, забросив добычу к себе на спину, уносил ее в лес.

Так как охотничьи угодья Романовской рощи были сняты дирекцией московского торгового дома «Мюр и Мерилиз», то лесники дали знать о появлении льва в Москву, и на редкого зверя из Белокаменной выехала целая охотничья экспедиция, вооруженная ружьями с разрывными пулями. На устроенной затем облаве лев был убит, о чем немедленно оповестили все газеты, как в столицах, так и в провинции.

Прочитав это известие, в Романовскую рощу, на специально заказанном экстренном поезде, из Тулы прикатил директор зверинца, подвизавшегося в этот сезон в городском цирке, принадлежавшем борцу Поддубному. Увидя убитого зверя, владелец «зоологии» пришел в отчаяние, так как узнал в нем своего лучшего и наиболее послушного дрессированного льва, убежавшего ночью из клетки и не разысканного дирекцией цирка, несмотря на все поиски и объявления.

Каким образом лев, сбежав из цирка, добрался до Романовской рощи, отстоявшей от Тулы более чем на 80 километров, осталось его тайной. Надо полагать, что умный зверь путешествовал только по ночам, скрываясь от людей днем в лесу и кустах.

У нас в усадьбе, в Курской губернии, больше года жила пара лисиц, принесенная к нам еще щенятами, обитавшая в сарае, в земляном полу которого они вырыли себе нору. Ставши совсем ручными, лисички до того привыкли к людям, что вывели даже детей, что является редким исключением для лисиц, живущих в неволе. Когда их дети подросли, то вся семья лисиц однажды ночью подрыли стену сарая, пробрались на птичий двор и там предали смерти 20 индюшек, оставив их трупы нетронутыми, но выев у каждой только мозг из головы. После этого преступления лисья семья ушла на волю и больше никогда не вернулась.

КШЫСЬ И МАРЫНЯ

Так назывались два медвеженка, получившие свои имена в честь героев Тетмайера, хотя к Татрам не имели никакого отношения, так как родились они в лесу на берегу Черного моря.

Охотники принесли их нам сосунками-младенцами после того, как предали их мать наглой смерти. Это было в холодный январьский день, почему их, до отвала напоенных теплым молоком, завернули в солдатский тулуп, из которого тотчас-же понеслось довольное урчание и сопение — медвежата, повидимому, сочли овечий мех за шкуру матери.

С этого момента два лесных младенца зажили у нас в доме под немой опекой кроткого барана, отдавшего свою шкуру, и двух коз, питавших их своим молоком. Если это было оскорбительно для медвежьего достоинства, зато несомненно сообщило мирный характер их детству и юности.

Кшысь и Марыня, от которых чудесно пахло лесом и мокрыми листьями, принадлежали к породе черных медведей с белой полоской вокруг шеи, считающимися злыми и хищными, но в своем детстве этих качеств не обнаруживали.

Так как их молодая хозяйка в момент появления медвежат в доме имела собственного сосунка, то справиться с тремя младенцами сразу ей было не под силу, почему к медвежатам был прикомандирован повар-армянин Григор, кор-

мивший их соской, и перед которым Кшысь и Марыня благоговели. Поселились они в сарайчике возле кухни и каждое утро, в сопровождении своего опекуна, поднимались по лестнице в дом здороваться с хозяйкой. С радостным урчанием и хрюканьем они врывались в комнату, толкая друг друга, и стремительно лезли на диван или кровать, пытаясь лизать руку матери и улыбающегося им ребенка. Скоро, однако, от этого удовольствия пришлось отказаться, так как их лапки и когти пачкали и рвали белье и простыни.

Когда дверь детской для них закрылась, медвежата, однажды, отыгрались на юбках хозяйки, улучив удобный момент, когда она гуляла в саду с ребенком на руках. В припадке любви и восторга звери набросились на нее, цепляясь за одежду, отчего от шелковых юбок полетели клочья, а сама хозяйка, у которой руки были заняты ребенком, вопила истошным голосом о помощи. Досталось не только юбкам, но и ногам, на которых до сего дня сохранились шрамы, нанесенные дружескими лапами.

Жизнерадостные и на редкость забавные оба зверька относились ко всему окружающему их миру с неизменным добродушием и чисто детской доверчивостью. Особенно они любили детей, с которыми часами могли заниматься дружеской возней и играми. Если из сада доносился звонкий детский крик и смех, то можно наверно было сказать, что это соседние детишки веселятся с медвежатами. Как Кшысь, так и Марыня позволяли детям делать с собой все, что им приходило в голову, при условии, чтобы ребенок был не старше 5—7 лет. Дети садились им на живот, таскали по земле за ноги и за уши, валялись с ними на траве, причем звери всячески ломали дурака, и на их мордах было написано явное удовольствие от хорошей и приятной компании. Игру эту медведи прекращали немедленно, если замечали, что за ними наблюдают взрослые люди.

Как настоящие приморские жители, Кшысь и Марыня обожали купанье и нисколько не боялись моря, в котором

охотно купались. Смешно было видеть, как притворно сердясь, они с ревом и фырканьем прыгали на приближающуюся к пляжу волну, которая покрывала их с головой, после чего, довольно отфыркиваясь, они плавали вокруг, как большие черные муфты.

Очень дружеское чувство обнаруживали они к нашей маленькой дочке, которую постоянно стремились облизать и обсосать, как это они делали друг с другом, отчего даже у Марьпни одно ухо было меньше другого, так как служило постоянной соской для Кшыся. Девочка тоже ,повидимому, считала медвежат за членов семейства, так как всегда им улыбалась и радостно таращила на них голубые глаза. Приходилось поэтому зорко следить за тем, чтобы медвежата не проникли в детскую и не стали бы сосать ребенку руку или ухо. Зато совершенно безропотно и покорно переносили медвежьи ласки пара кроликов, живших у нас на балконе. Их длинные розовые уши являлись любимой соской Марыни и Кшыся. Скоро эти бедные уши стали напоминать собой кружева, так как у медвежат отростали зубы, которыми они постоянно их прокусывали. Удивительно, что, несмотря на это, кролики не только никогда не избегали медведей, но наоборот, не трогаясь с места, переносили эту операцию с совершенным равнодушием.

Живущие в человеческом доме медвежата были, конечно, не совсем обычным явлением, почему иногда выходили конфликты. Так, однажды, зашел ко мне генерал Д., бывший случайно в Геленджике по какому-то делу. Во время его визита жена куда-то собиралась и, прощаясь с гостем, обратилась ко мне: — «Смотри пожалуйста, Анатолий, чтобы медведи не забрались в комнату к ребенку».

Генерал, в это время целовавший ее руку, как-то поперхнулся, замолчал и, подождав пока хозяйка вышла из дома, осторожно осведомился: «а как... здоровье вашей супруги?»

Объяснять ему о том, что у нас в доме никто с ума не сошел мне, однако, не пришлось, так как по лестнице зашле-

пали тяжелые лапы, раздалось сопение, дверь с треском распахнулась и в комнату ввалились с приятным ворчанием Кшысь и Марыня, немедленно облапившие с двух сторон мою коленку. Генерал, видимо в первый момент не поверил собственным глазам, вздрогнул, вскочил на ноги, но скоро успокоился и очень заинтересовался забавными медвежатами.

Каждое утро, когда мы еще спали, звери отправлялись с Григором на базар, что для них являлось большим удовольствием, так как там их все хорошо знали и кормили до отвала. Дорога на базар шла по берегу моря и медвежата один за другим, переваливаясь, трусили за Григором. За дорогой по горе, в Геленджике, были разбросаны среди садов дачи, в каждой из которых жило по собаке. По началу, каждый из псов, завидя издали каких-то небольших четвероногих, неуклюже галопирующих по дороге, принимал их за собак и бросался с горы с намерением наказать чужеземцев, нарушивших границы. Разогнавшись под откос, такой пес только в самый последний момент учуивал медвежий запах, ударявший ему в нос. От этого страшного запаха у пса в ужасе вставала дыбом вся шерсть, и он начинал тормозить всеми четырьмя лапами, но было уже поздно. В облаке пыли он налетал на одного из медвежат, который, не поворачивая головы, углом глаза, однако, внимательно следил за собачьей атакой и, в момент столкновения, давал несчастному псу такую оглушительную оплеуху, что тот с воем катился в прах. Хромая и жалостно взвизгивая, пес затем с позором возвращался домой и в следующий раз при виде Григора с его провожатыми спешил к ближайшей подворотне. Таким манером скоро все собаки города познакомились с широкими, как лопата, лапами медвежат и прекратили на них все атаки. Зато Кшысь и Марыня продолжали возбуждать совершенно незаслуженный ужас в рогатом населении Геленджика. Если коровье стадо попадалось навстречу медвежатам при их путешествии на базар, всякий раз повторялась одна и та

же картина. Зачуя медвежий запах, коровы останавливались, сбивались кучей и, выставив рога, поднимали такой рев ужаса и негодования, что медведи, напуганные до смерти, бросали повара и со всех ног удирали домой, оглядываясь и трусливо поджимая куцые задики.

Такой же страх и смятение они возбуждали и в животном населении горных лесов, которые спускались к самому забору нашего дома. Вечером, запертые в своем сарайчике, медвежата возились друг с другом, причем игра часто переходила в драку, сопровождаемую ревом и рыком. Эти звуки, несшиеся из тьмы ночи, буквально сводили с ума лесное население, которое поднимало со своей стороны многоголосый крик и рев. Первыми начинали какафонить обыкновенно шакалы, как элемент наиболее нервный, и дольше других не могли успокоиться К ним присоединялись вскоре какие-то другие крики и подвывания. В соседних с нами дачах начинали волноваться и стучать в своих стойлах лошади и коровы и в тоске выть собаки.

Подрастя, Кшысь и Марьня стали понемножку шкодить, сначала довольно невинно, а затем все серьезнее. Началось с того, что, однажды, я застал Кшыся за казалось-бы совершенно невинным занятием — пересыпанья лапой песка на заднем дворе. По виноватой морде и хитрым маленьким глазкам я, однако, сразу понял, что он учинил какую-то шкоду, на что явно указывало взволнованное куриное население двора, метавшееся во все стороны. Спрятавшись за угол, я стал наблюдать и увидел любопытную картину.

Медвеженок, повидимому, не раз видел, как Григор кормит кур, подражал ему, посыпая песок на землю, чем обманывал цыплят, сбегавшихся к нему, полагая, что им сыпят корм. Как только какой нибудь из цыплят подбегал к Кшысю, он его хлопал лапой и укладывал на месте, после чего прятал еще дрыгавших ногами покойников в свой сарайчик, где я нашел три еще теплые жертвы. Так как медведи

кур не ели, то это было чистое озорство, за которое медвежонок получил основательную трепку.

Второй проказой было то, что, однажды, медвежата отправились на базар одни без Григора и учинили там форменный разгром, подавив корзины с яйцами, разлив молоко и разграбив корзинку с абрикосами. На все попытки баб-торговок прекратить безобразие медведи грознее рычали и замахивались лапой, вооруженной пятью серьезными крючками. Домой их доставил со скандалом городской стражник, в сопровождении целой толпы кричащих и хохочущих баб. Скоро была обнаружена новая шкода, за которую мне пришлось опять платиться карманом. Кшысь и Марыня очень любили молоко и забавно его пили из бутылки, придерживая ее обеими лапами. Заметив, что баба-молочница разносит бутылки по дачам, они повадились идти вслед за ней и затем воровали молоко с окон и балконов, пока хозяева дач еще спали

Дачники долго не могли понять кто выпивал их молоко? Пока медвежата не попались с поличным. Отнимая, однажды, один у другого бутылку, они уронили ее и разбили, разбудив хозяина дачи, ктоорый и накрыл моих прохвостов на месте. К осени, когда Кшысь и Марыня выросли с хорошего теленка, их проделки стали принимать более серьезный характер. К этому времени на Черноморье поспевают, как и везде, фрукты и ягоды, до которых медведи большие охотники. Особенно они любили шелковицу, которая в изобили растет в горах, но как на грех в самом Геленджике ее было всего несколько деревьев, из которых самое большое росло перед особняком, который в эту пору занимала контрразведка, самое непопулярное учреждение Добровольческой армии. Дом этот был огорожен сплошным забором и в него был единственный вход, перед которым как раз росло упомянутое дерево шелковицы. Сюда-то и повадились есть ягоды мои медведи, причем один из них по очереди взбирался на дерево и тряс его, в то время как другой собирал ягоду и жрал внизу.

Однажды утром, ко мне прибежал взволнованный солдат и доложил, что начальник контр-разведки спешно просит освободить весь состав подчиненного ему учреждения от медвежьей осады. Оказалось, что Марьня, объевшись шелковицей, развалилась поперек входа и блокировала совершенно дверь. Все попытки разведчиков выйти на улицу она принимала за личное оскорбление, поднимала шерсть дыбом и всем своим видом показывала, что она шутить не намерена. Струсившее начальство выслало, наконец, через заднее окно вестового, который перелез через забор, чтобы вызвать меня и прекратить осаду, над которой уже хохотала собравшаяся перед домом толпа обывателей.

Надо сказать, что по началу медвежата слушались простого хлыста, но этого отеческого внушения скоро стало недостаточно и, постепенно, для медвежьего укрощения приходилось применять все более серьезные средства. Довольно долго для этого служил винтовочный шомпол.

Постепенно стал портиться и характер медведей. Ранее добродушные и веселые, они стали часто злиться и жестоко драться между собой. Драки всегда происходили в сопровождении свирепого рева и клочьев шерсти, летевших вокруг. Сцепившись друг с другом Кшысь и Марьня осенью представляли собой внушительный и грозный клубок, все крушивший и ломавший вокруг своей тяжестью. Так однажды, когда медвежата подрались на лестнице курятника, она с громом и треском обломалась, лишив Григора всякого сообщения с курами. Обыкновенно, лучшим средством разнять драку служило ведро холодной воды, но на этот раз обозленный повар пустил в ход палку от метлы, которая сразу навела порядок.

Хотя медведи наши были очень популярны в Геленджике, и о их проделках ходило много рассказов, с возрастом они стали проявлять все больше звериные инстинкты. Довольно послушные еще к своим, на чужих людей они серьезно огрызались и, как это не было нам тяжело с женой, но было ясно, что скоро с ними нам придется расстаться.

В сентябре, в Геленджик зашел английский крейсер, офицеры которого очень заинтересовались медведями и просили уступить им одного на корабль в качестве «маскоты». Это был прекрасный выход из положения, и жена согласилась отдать Кшыся. Дело,однако, обошлось не без затруднений, так как медведь очень любил кататься на лодке и охотно уселся на лавочку английского катера. Однако, едва завели затрещавший мотор, как Кшысь в испуге ринулся в море, перевернув катер со всем содержимым, при веселых криках и хохоте моряков. Два раза выкачивали из катера воду и два раза Кшысь, пугаясь, его перевертывал, пока, наконец, мокрым и смеющимся англичанам удалось его доставить на борт крейсера.

Что касается Марыни, то, однажды, когда я уехал по делам в Новороссийск, к жене пришел какой-то незнакомый офицер и увел медведицу с собой, заявив, что он получил ее от меня в подарок Кто был этот незнакомец и для чего ему понадобилась полувзрослая медведица, мы так и не узнали.

ДЖЕРРИ

История одной собаки

Если вы подберете голодную собаку, накормите ее и станете с ней хорошо обращаться, то она вас не укусит. В этом и заключается существенная разница между человеком и псом.

Гостеприимство русского беженца всегда прямо пропорционально его бедности. По мере накопления земных ценностей, оно постепенно слабеет, чтобы, наконец, с приобретением материального благополучия, исчезнуть совершенно. С этого момента человек перестает называться «беженцем» и становится «эмигрантом».

В двадцатых годах мне, одному из первых русских в Александрии, удалось устроиться, поступив на службу в полицию порта, что было соединено с постоянным заработком и некоторыми возможностями содействия землякам. По этому случаю наш дом вскоре превратился в караван-сарай для проезжающих через Египет русских. «Миграция» беженцев, как известно из истории русского зарубежья, в определенные годы была связана с определенными путями, по которым она двигалась, как сельдь у берегов Крыма.

В середине двадцатых годов одним из подобных трактов являлся Суэцкий канал, по которому на Восток и с Востока в Европу густо шел русский беженец, задерживаясь на более или менее короткий срок в Александрии. За эти три или четыре года кого только мы с женой не перевидали у

себя на ласковом хлебе в качестве случайных и неожиданных гостей.

Были здесь стремившиеся в иностранные легионы и из этих легионов бежавшие: глоб-троттеры, пешком и на велосипедах; служившие в китайском флоте и парагвайской кавалерии; бежавшие из войск Кемаля и Красной Армии; просто едущие в Южную Африку, Америку и Австралию; искавшие труда люди и от труда бегущие. Все они промелькнули и исчезли без следа, и часто даже заплатив злом за добро

Теперь, когда морщины старости отметили на наших лицах место улыбок молодости, — это кажется несколько обидным, но тогда, молодые и благожелательные ко всем, мы никакой благодарности и не искали. Когда, наконец, волны взбаламученного эмигрантского моря схлынули и пошли другими путями, их место в доме заняли четвероногие.

Жена, владеющая редким природным даром приручения животных, создала из них целый зверинец. Забавно было видеть, как зверье утрачивало свои дикие инстинкты и вступало со своей хозяйкой в нежную и преданную дружбу.

Весной она специально посещала зоологический сад, чтобы понянчить и поласкать новорожденных львят, тяжелых, точно свинцом налитых, котят с человеческими лицами. Страстный охотник в молодости и любитель природы, я тоже люблю всякую скотину, но, не владея тайной ее приручения, довольствуюсь снисходительным товариществом.

По этим причинам, как в России, так и в изгнании, у нас в доме никогда не переводился всякий зверь. На правах членов семьи живали у нас медведи. Молодой шакал «Хамсин», ко всеобщей потехе, кротко моргал глазами на руках хозяйки. Поросенок «Джени» с веселым визгом носился по саду, играя с кошками и собакой. Кот «Адольф», с черным пятном гитлеровских усов под носом по команде «хейль Гитлер!» становился на дыбы и салютовал лапой. Он же под-

нимался со двора не иначе, как на крыше подъемной машины, не желая утруждать себя по лестнице.

Другой кот «Люша», благополучно здравствующий и поныне, при звуках определенного марша, кряхтя лез на спинку венского стула и вытягивался на ней на задних лапах, вопреки всем законам эквилибристики. Были и преступные типы, как кот-клептоман, воровавший даже тогда, когда был сыт. Он умудрился однажды украсть у соседки из кипящего супа двух куриц в один день, из-за чего, конечно, произошел крик и вопль многих. Были и собаки, из которых, несомненно, самым замечательным по уму и характеру являлся «Джерри». Появился он у нас не совсем обыкновенно.

Однажды, вернувшись со службы, я был встречен у порога дома большим, красивым пойнтером. Пес встретил меня с достоинством и вежливо проводил в комнату жены, а затем вернулся опять к дверям.

— Что это за незнакомец? — спросил я.

— А вот пришел сегодня утром и... повидимому, решил у нас остаться.

— Но позволь! Ведь это не дворняга какая-нибудь, а породистый и дорогой пес. Он, видимо, заблудился, и его наверное разыскивают теперь.

— Что же мы тут можем поделать?.. Посмотрим.

Пес присутствовал за обедом, во время которого вел себя очень вежливо и тактично. Провел у нас всю ночь и утром с достоинством проводил меня на службу до калитки. По его манерам и обращению с людьми было несомненно, что он получил хорошее английское воспитание, почему временно был назван «Джерри», имя которе он затем стал носить и на которое стал отзываться.

Около одиннадцати часов утра пес незаметно исчез, и жена уже думала, что он больше не вернется. Через час, однако, он был на месте и улегся у двери, позиции, которую он, повидимому, считал своим служебным постом. Его неизменная вежливость и выдержка сразу завоевали сердца

двух наших котят, которые не только сдружились с англичанином, но и стали есть с ним из одной миски. Вечером они оба спали на спине собаки.

С первого дня своего появления Джерри стал членом семьи и так сказать «своим человеком». Как истинный джентельмен, он не хотел быть паразитом и сразу же возложил на себя целый ряд обязанностей. Днем и ночью он дежурил у входной двери, не подпуская к ней арабов, относясь безразлично к европейцам, среди которых сразу распознавал русских, которых дружески встречал негромким коротким лаем. Утром он сопровождал жену, отводившую в школу наших двух девочек, в полдень — ходил за ними в школу сам, конвоировал до двери и давал знать о прибытии радостным лаем.

При всем своем благодушии к людям и животным, он со своим служебным долгом не шутил и однажды, к ужасу своей хозяйки, молниеносно обезглавил чужого кота, забравшегося для грабежа в кухню. В доме он никогда и ничего не трогал, как бы голоден не был, наоборот, однажды принес откуда-то огромную итальянскую колбасу, которую осторожно сложил к ногам хозяйки.

Происхождение Джерри продолжало, однако, для нас оставаться тайной, усугублявшейся тем, что ровно в одиннадцать часов утра каждый день он незаметно исчезал и возвращался через час с видом существа, исполнившего свой долг. Чувство времени было развито у него до такой степени, что русские казаки, шоферы такси, стоянка которых была недалеко от нашего дома, проверяли по нем время. Я не раз слышал, как они говорили:

— Собирайте завтракать, станичники!.. марковский кобель в гости пошел.

— Да, этот брат не ошибется!.. Минута в минуту попадает, сукин сын...

Тайна Джерри открылась нам только через год совершенно случайно. До этого мы могли только установить, что он

быстрой иноходью в раскачку, отправлялся на трамвайную станцию и влезал на площадку первого отходящего вагона. Кондуктора его, повидимому, хорошо знали, так как не только не сгоняли, а, наоборот, весело приветствовали, как старого знакомого.

Наконец, уже год спустя после того, как он у нас поселился, жене случилось по делам быть в одном из предместий Александрии, отстоящем от нас на три трамвайных остановки. Неожиданно она увидела Джерри, который ее не заметил, с деловым видом рысившего по середине улицы. Зная, что это был час его таинственной отлучки, она пошла за псом.

Джерри подбежал к одиноко стоящей даче и вошел в калитку, за которой семейство англичан радостно приветствовало его криками: «Рипп пришел!.. Рипп пришел! . . Здравствуй Рипп!» Джерри ласково со всеми поздоровался и нежно облизал морду их собаке, повидимому, старой и близкой его знакомой.

Жена подошла и рассказала англичанам о том, что «Джерри-Рипп» живет у нея уже год и не хочет никуда уходить. Хозяйка дачи, со своей стороны, сообщила, что пес принадлежал их другу, уехавшему в Англию и поручившему им собаку. «Рипп», однако, остаться у них почему-то не захотел, и в день отъезда хозяина ушел неизвестно куда, хотя с тех пор наносит им ежедневные и очень аккуратные визиты. С общего согласия было решено, что «Рипп-Джерри», избравший для себя наш дом, пусть в нем и остается жить — ему виднее; в гости же пусть попрежнему ходит к англичанам.

Скоро мы узнали, что эти визиты, которые пес, повидимому, считал своей обязанностью перед прежними хозяевами, не лишены для него весьма серьезной опасности. За ним издавна, хотя и безуспешно, охотились муниципальные ловцы бродячих собак, которые не признавали самостоятельных собачьих прогулок по городу. Много раз они пытались окружить Джерри и посадить его в роковой ящик на

колесах, но умная и опытная собака, видя издали своих врагов, всякий раз от них удирала, с благосклонной помощью прохожих и к шумному их удовольствию, так как большинство восточных людей любит животных.

Охота эта, однако, очень волновала Джерри, который удрав от преследователей, всякий раз с возмущением пытался нам передать происшествие. Он при этом лаял, подвывал, метался по комнате и вел свое повествование не только голосом и глазами, но и всеми четырьмя лапами, хвостом и даже туловищем.

Рассказ этот был до того картинен и выразителен, что не понять его было невозможно. Чтобы успокоить разволнованного и возмущенного человеческой подлостью пса, жена брала его на руки и начинала ласкать, приговаривая: «Мой бедный... Мой маленький... Мой щеночек...» При этих словах большой пес начинал тоненько повизгивать, поджимать лапы и зад и сжиматься на коленях хозяйки, изображая из себя маленького и обиженного щеночка.

Относясь с дружеской лаской ко мне и детям, Джерри любил жену преданно и самозабвенно, как может любить только собака. Он понимал ее с полуслова и слушался каждого ее жеста. Стоило хозяйке немного прихворнуть, как Джерри совершенно терял голову, бросал все свои занятия и обязанности, ничего не ел и по целым дням сидел около ее кровати, положив голову на подушку и не сводя с больной глаз, полных беспокойства и нежности. Зато, когда она вставала, буря восторга наполняла наш дом: пес радостно лаял басом, морщил верхнюю губу в улыбке радости, лез ко всем со слюнявыми поцелуями и валил ребят на пол, кладя с размаху им на плечи свои лапы.

Пришел он к нам взрослым пяти-шести лет и прожил в доме еще двенадцать лет, переезжая с квартиры на квартиру и честно исполняя все принятые на себя обязанности. Он был не только другом семьи и всех наших животных, без различия пород и происхождения, но и надежным их защит-

ником от чужих котов и собак. С котом «Кшысем», которого он заботливо воспитал и вырастил, они ели с одной тарелки и их связывала прочная дружба. Теплый и пушистый, как муфта, Кшысь зимой грел друга, почти не имевшего шерсти, с которым он спал нежно обнявшись.

Дожив до глубокой старости у нас, Джерри умер от паралича, обычного конца старых псов. Сначала у него отнялись задние ноги, и он несколько дней лежал в своем углу, грустно глядя перед собой. Затем недуг захватил и другие органы и он ослеп. Однажды, на заре, мы все были разбужены почти человеческим стоном: это был момент, когда его верное и честное сердце перестало биться. Мы еще успели собраться вокруг его холодеющего тела, и он умер положа голову на руки своей плачущей хозяйки.

Похоронил я его на пустыре, куда отнес исхудавшее, ставшее совсем маленьким, тело бедного старого «щеночка». Проходя мимо этого места, оставшегося незастроенным, я чувствовал, как у меня тоскливо сжималось сердце. . .

ОГЛАВЛЕНИЕ

С заказами обращаться по адресу издателя:
[redacted].